Леопольд фон
Захер-Мазох
ВЕНЕРА В МЕХАХ
Повести и рассказы

Леопольд фон Захер-Мазох
Венера в мехах (сборник)
Серия «Экранизированная классика (Бертельсманн)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9519830
Захер-Мазох Л. Фон Венера в мехах: ЗАО Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО»; Москва; 2014
ISBN 978-5-88353-633-4, 978-5-88353-621-1

Аннотация

Австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох создавал пьесы, фельетоны, повести на исторические темы. Но всемирную известность ему принесли романы и рассказы, где главной является тема издевательства деспотичной женщины над слабым мужчиной; при этом мужчина получает наслаждение от физического и эмоционального насилия со стороны женщины (мазохизм). В сборник вошло самое популярное произведение – «Венера в мехах» (1870), написанное после тяжелого разрыва писателя со своей возлюбленной, Фанни фон Пистор; повести «Лунная ночь», «Любовь Платона», а также рассказы из цикла «Демонические женщины».

…В саду в лунную ночь Северин встречает Венеру – ее зовут Ванда фон Дунаева. Она дает каменной статуе богини

поносить свой меховой плащ и предлагает Северину стать ее рабом. Северин готов на всё! Вскоре Ванда предстает перед ним в горностаевой кацавейке с хлыстом в руках. Удар. «Бей меня без всякой жалости!» Град ударов. «Прочь с глаз моих, раб!». Мучительные дни – высокомерная холодность Ванды, редкие ласки, долгие разлуки. Потом заключен договор: Ванда вправе мучить его по первой своей прихоти или даже убить его, если захочет. Северин пишет под диктовку Ванды записку о своем добровольном уходе из жизни. Теперь его судьба – в ее прелестных пухленьких ручках.

Содержание

О странностях любви 6
Венера в мехах 15
Конец ознакомительного фрагмента. 123

Леопольд фон Захер-Мазох
Венера в мехах (сборник)

© ООО «РИЦ Литература», состав тома, вступительная статья, 2014

© ЗАО Фирма «Бертельсманн Медиа Москау АО», издание на русском языке, художественное оформление, 2014

О странностях любви

Приметы времени: запретные ранее фильмы и отделы в секс-шопах «садо-мазо» стали уже привычными. Однако, как маркиз де Сад и Леопольд фон Захер-Мазох, так и садизм и мазохизм по сути – две стороны одной медали.

Впервые открывая книгу Захер-Мазоха «Венера в мехах», неискушенный читатель, кажется, готов – в духе времени – к истории об «Эммануэль» с плеткой и наручниками, но…

Оказывается, дело вовсе не в атрибутах, а прежде всего в размышлениях о природе и странностях любви между мужчиной и женщиной, о пороках, слабостях и о тончайшей, порой запредельной психологии. К тому же действие самого известного романа Захер-Мазоха происходит во второй половине XIX века, и даже «садо-мазо» в те времена было романтичным…

Леопольд фон Захер-Мазох родился 27 января 1836 года в Лемберге (ныне Львов, Украина) в семье начальника полиции Галиции – одного из отдаленных уголков Австрийской империи. Предками отца были испанцы, поселившиеся в Праге в XVI веке, и богемские немцы. В автобиографии сам Захер-Мазох неоднократно называл себя «украинцем по матери». Но ее родители не были этнически связаны с Украиной. Дедушка Леопольда, профессор медицины Лембергского университета Франц Мазох родился в Румынии,

бабушка происходила из немецкой диаспоры Чехии. Чтобы род жены не прекратился, отец писателя согласился присоединить ее девичью фамилию к своей; отсюда и сочетание Захер-Мазох.

Леопольд родился слабым и хилым. Ему взяли няню-кормилицу из Малороссии – грубоватую, крепкую, пышущую здоровьем крестьянку. Она пестовала Леопольда несколько лет. Он любил слушать ее страшные байки, которые позже легли в основу его цикла повествований о Галиции – стране, полной чудес.

В семье говорили по-немецки и по-французски, а от няни ее воспитанник перенял устный украинский язык.

Первой, детской любовью Леопольда была графиня Зиновия, родственница отца – роскошная дама, обожавшая соболиные меха. Графиня допускала мальчика в свои покои, разрешала помочь ей снять накидку, переменить туфли… А он не раз прятался в комнате Зиновии и, затаив дыхание, наблюдал, как эта женщина принимает у себя любовников. Однажды графиня все-таки застукала Леопольда в своем шкафу и жестоко отлупила его. Вот тогда он испытал первое физическое наслаждение, густо замешанное на первом эротическом чувстве.

С тех пор женщина в мехах и с плеткой в руке стала его невыносимо навязчивым и любимым образом. Говоря о некоей даме, приглянувшейся ему, он заявлял: «Мне бы хотелось увидеть ее одетой в меха» или «Нет, я не могу пред-

ставить ее в мехах»…

Когда Леопольду исполнилось двенадцать лет, семья переехала в Прагу.

Учился Захер-Мазох блестяще – в университетах Праги и Граца, второго по величине города Австрии. В девятнадцать он защитил диссертацию, став доктором права, а затем в качестве приват-доцента преподавал историю.

В 1858 году молодой ученый анонимно опубликовал роман «Одна галицийская история. Год 1846», посвященный польскому восстанию. Затем появляются «Закат Венгрии и Мария Австрийская», «Эмиссар», другие исторические повести, пьесы. Но всё это не приносит автору ни интереса читателей, ни денег. Хотя к историческим сюжетам Захер-Мазох еще не раз вернется…

А пока он принимается за новую тему – пишет новеллу о распутном грешнике «Дон Жуан из Коломыи» (1866), принесшую ему громкий успех. В немалой степени этому способствовало благожелательное предисловие к книге опытнейшего венского публициста и литературного критика Фердинанда Кюрнбергера, открывшего Захер-Мазоху доступ в престижные немецкие журналы и издательства.

Именно Кюрнбергер провел аналогию между начинающим, безвестным писателем и знаменитым, принадлежавшим в то время к западноевропейской литературной элите Иваном Тургеневым. Он же впервые обозначил Захер-Мазоха как «австрийского Тургенева».

Действительно, уже в «Дон Жуане из Коломыи» ощущается влияние тургеневских текстов. А в новелле «Лунная ночь» (1868), включенной в цикл «Наследие Каина», возникает фигура рассказчика – охотника, а также «славянские» природные, социальные и этнографические реалии; персонажи – помещики и крестьяне (пусть и не орловские, а галицийские); на этом фоне юный граф оказывается под роковым влиянием демонической сектантки… И часть западной читающей публики заметила некое сходство «каиновского цикла» с «Записками охотника».

Справедливости ради отметим, что сам Тургенев довольно неприязненно относился к личности и творчеству Захер-Мазоха. В письме к издателю Суворину в 1876 году он писал: «Я с ним не знаком лично – и, признаюсь, небольшой охотник до его романов. В них слишком много «литературы» и «клубнички» – две вещи хорошие, но при излишнем пережевывании – нестерпимые».

Однако, по поводу «клубнички»… За год до «Венеры в мехах» вышел немецкий перевод повести Тургенева «Переписка». Герой «Переписки» безумно влюбляется в красавицу-танцовщицу, явившуюся ему в образе вакханки «с виноградным венком на голове и тигровой кожей по плечам». Влюбленный целиком отдается ее власти – «как собака принадлежит своему господину» и делает в конце концов вывод: «В любви одно лицо – раб, а другое – властелин». Вот такая тургеневская повесть оказалась предшественницей зна-

менитого романа Захер-Мазоха…

«Венера в мехах» вышла в 1870 году, в первой части цикла «Наследие Каина». События, описанные в этой книге, соответствуют реальным подробностям любовных отношений самого Захер-Мазоха с молодой вдовой Фанни фон Пистор.

Главный персонаж «Венеры в мехах» молодой галицийский дворянин Северин Кузимский рассказывает о своем рабском подчинении любимой женщине – Ванде. Богиня и властительница, она носит отороченную мехом кацавейку и бьет его плетью – и ничто не может так усилить страсть, как жестокость его возлюбленной. Ванда всесильна, всегда справедлива, необузданна…

Кстати, и семейная жизнь писателя в первом браке протекала под знаком этого же сценария. Урожденная Аврора фон Рюмелин, ставшая его женой в 1873 году, даже взяла себе псевдоним Ванда, по имени героини «Венеры в мехах». О подробностях супружеской жизни с Захер-Мазохом она поведает широкой публике много позже, в 1906 году, когда издаст свои воспоминания. Не выдержав в конце концов причуд мужа, она покинула его, сбежав с другим и взяв с собой младшего сына. А вскоре от брюшного тифа умер старший сын, оставшийся с отцом…

Еще одна повесть из «Наследия Каина» – «Любовь Платона» – рассказывает о любовных исканиях знаменитого мыслителя в юности, о непонимании его окружающими людьми.

О цикле «Наследие Каина» следует сказать особо. За-

хер-Мазох задумал его состоящим из шести частей, озаглавленных соответственно каждому из шести элементов проклятия, наложенного на человечество: любви, собственности, труде, войне, государстве и смерти. Каждая из частей должная была состоять из шести новелл, пять из которых представляли бы реальное, пессимистическое положение в вышеназванных сферах, а заключительная являлась бы идеальным вариантом решения проблем.

Пять произведений первого раздела, озаглавленного «Любовь» («Дон Жуан из Коломыи», «Отставной солдат», «Лунная ночь», «Любовь Платона» и «Венера в мехах»), рассказывают о несчастьях, приносимых любовной страстью. А в последней повести этого раздела («Марцелла, или Сказка о счастье») представлена взаимная любовь и крепкий брак помещика и крестьянки, которую будущий супруг предварительно поднимает до своего уровня путем образования и воспитания.

Раздел «Любовь» вышел отдельным сборником в 1870 году, раздел «Собственность» – в 1877-м. Остальные четыре раздела остались незавершенными; для каждого из них автор успел создать только по две-три повести.

В 1873–1874 годах вышли произведения Захер-Мазоха, основанные на материале российской истории XVIII века: роман «Женщина-султан» об эпохе Елизаветы Петровны и четыре тома «Новелл русского двора», действие в которых происходит во времена от Петра I до Екатерины II.

В России писателя интересовали также сектанты (скопцы, духоборы, хлысты) и старообрядцы. В 1889 году появляется его статья «Русские секты», в которой приводятся отчасти реалистические, отчасти фантастические сведения о верованиях и быте сектантов и раскольников. А два «черных» романа Захер-Мазоха «Душегубка» и «Богоматерь» знакомят читателя с мистическими галицийскими сектами и по своему воздействию достигают высочайшего уровня страха и напряжения.

В сборник «Демонические женщины» были включены рассказы разных лет о сильных представительницах слабого пола. Героини этой книги вооружены красотой, они властны и жестоки, они обладают железной волей и безжалостны по отношению к своим обидчикам. В некоторых рассказах присутствует и доля фантастичного, придающая общему замыслу еще больше колорита. И, как и в «Венере в мехах», автор показывает неразрывную связь между наслаждением и страданием, делает их зависимыми друг от друга.

Надо отметить, что успех Захер-Мазоха у немецких читателей оказался недолгим. Известность, хвалебные рецензии в прессе, внушительные гонорары постепенно сошли на нет. Уж слишком не соответствовали его книги консервативной бюргерской морали. А вот во Франции его популярность была очень высока. Лучшие парижские издательства выпускали большими тиражами не только его эротические произведения, но и галицийскую прозу. Признание и почтение он

нашел у таких столпов французской литературы, как Золя, Доде, Флобер, Дюма-сын. В 1883 году в связи с 25-летием писательской деятельности Захер-Мазох был удостоен высшей награды Франции – ордена Почетного Легиона.

В последние годы жизни он уже не занимался так интенсивно литературной работой. Во втором его браке с переводчицей Хульдой Майстер родились трое детей; семейство поселилось в принадлежавшем Хульде поместье недалеко от Франкфурта-на-Майне. Здесь писатель увлекся толстовством, организовал несколько публичных библиотек и народных школ.

Еще при жизни Захер-Мазоха австрийский психиатр и невропатолог, один из основателей сексологии Рихард фон Крафт-Эбинг, исследовав произведения писателя, ввел в научный оборот термин «мазохизм». Этим термином он обозначил половое отклонение, при котором человеку для достижения удовольствия необходимо испытывать физическую боль или моральное унижение. Впоследствии большое внимание проблеме мазохизма будет уделено в классическом психоанализе, в том числе в трудах Зигмунда Фрейда.

Леопольд фон Захер-Мазох умер в марте 1895 года от сердечной недостаточности. По некоторым утверждениям, урну с его прахом уничтожил пожар в 1929 году.

«Ему так и не удалось обрести отечество для своего таланта. Ему так и не удалось стать частью какого-нибудь целого. Правду говоря, это было бы ему не так просто сделать. Где

то целое, частью которого он мог бы стать? Ведь он нигде не был укоренен. К великому прошлому австрийской литературы он обратиться не мог, так как “великий дух” был чужд ему. Немцев он ненавидел, славянскую культуру – перерос. Культуры, соразмерной его таланту, просто не было» – так отозвался на смерть Захер-Мазоха «отец венского модерна» Герман Бар.

Юрий Павлов

Венера в мехах

И покарал его Господь и отдал его в руки женщины.
Кн. Юдифи, 16, гл. 7.

У меня была очаровательная гостья.

Перед большим камином в стиле ренессанс, прямо против меня, сидела Венера. Но это не была какая-нибудь дама полусвета, ведущая под этим именем войну с враждебным полом – вроде какой-нибудь мадемуазель Клеопатры, – а настоящая и подлинная богиня любви.

Она сидела в кресле, а перед ней пылал в камине яркий огонь, и красный отблеск пламени освещал ее бледное лицо с белыми глазами, а время от времени и ноги, когда она протягивала их к огню, стараясь согреть.

Голова ее поражала дивной красотой, несмотря на мертвые каменные глаза; но только голову ее я и видел. Величавая богиня закутала все свое мраморное тело в широкие меха и, вся дрожа, сидела свернувшись в комочек, как кошка.

Между нами шел разговор…

* * *

– Я вас не понимаю, сударыня, – воскликнул я, – право же,

теперь совсем уже не холодно! Вот уже две недели, как у нас стоит восхитительная весна. Вы, очевидно, просто нервны…

– Благодарю за вашу весну! – отозвалась она своим глубоким каменным голосом и тотчас же вслед за этими словами божественно чихнула – даже два раза, быстро, один за другим. – Этого положительно сил нет выносить, и я начинаю понимать…

– Что, глубокоуважаемая?

– Я готова начать верить невероятному, понимать непостижимое. Мне сразу становится понятной и германская женская добродетель, и немецкая философия, – и меня перестает поражать то, что вы любить не умеете, что вы и отдаленного представления не имеете о том, что такое любовь…

– Позвольте, однако, сударыня!.. – воскликнул я, вспылив. – Я положительно не дал вам никакого повода…

– Ну, вы другое дело! – божественная чихнула в третий раз и с неподражаемой грацией повела плечами. – Зато я была к вам неизменно благосклонна и даже время от времени навещаю вас, хотя, благодаря множеству своих меховых покровов, каждый раз простуживаюсь. Помните ли вы, как мы с вами в первый раз встретились?

– Еще бы! Мог ли бы я забыть это! – ответил я. – У вас были тогда пышные каштановые локоны, и карие глаза, и ярко-розовые губы, но я тотчас же узнал вас по овалу лица и по этой мраморной бледности… Вы носили всегда фиолетовую бархатную кофточку с меховой опушкой.

– Да, вы были без ума от этого туалета… И какой вы были понятливый!

– Вы научили меня понимать, что такое любовь. Ваше веселое богослужение заставило меня забыть о двух тысячелетиях…

– А как беспримерно верна я вам была!

– Ну, что касается верности…

– Неблагодарный!

– Я совсем не хотел упрекать вас. Вы, правда, божественная женщина, – и, как всякая женщина, вы в любви жестоки.

– Вы называете жестокостью то, – с живостью возразила богиня любви, – что составляет главную сущность чувственности, веселой и радостной любви, то, что составляет природу женщины: отдаваться, когда любит, и любить все, что нравится.

– Да разве может быть что-нибудь более жестокое для любящего, чем неверность возлюбленной?

– Ах, мы и верны, пока любим! – воскликнула она. – Но вы требуете от женщины, чтобы она была верна, когда и не любит, чтобы она отдавалась, когда это и не доставляет ей наслаждения, – кто же более жесток, мужчина или женщина? Вы, северяне, вообще понимаете любовь слишком серьезно и сурово. Вы толкуете о каких-то обязанностях там, где речь может быть только об удовольствиях.

– Да, сударыня, – и зато у нас такие почтенные и добродетельные чувства и такие длительные связи…

– И так же вечно это тревожное, ненасытное, жадное стремление к языческой наготе, – вставила она. – Но та любовь, которая представляет высшую радость, воплощенное божественное веселье, – эта не по вас, она не годится для вас, современных детей рассудочности. Для вас она несчастье. Когда вы захотите быть естественными, вы впадаете в пошлость. Вам представляется природа чем-то враждебным, из нас, смеющихся богов Греции, вы сделали каких-то злых демонов, меня представили дьяволицей. Меня вы умеете только преследовать, заточать и проклинать – или же, в порыве вакхического безумия, сами себя заклать, как жертву, на моем алтаре. И когда у кого-нибудь из вас хватает мужества целовать мои яркие губы, – он тотчас бежит искупать это паломничеством в Рим босиком и в покаянном рубище, ждет, чтоб высохший посох дал зеленые ростки, – тогда как под моими ногами вечно прорастают живые розы, фиалки и зеленый мирт, но вам не по силам упиваться их ароматом. Оставайтесь же среди вашего северного тумана, в дыму христианского фимиама, – а нас, язычников, оставьте под грудой развалин, под застывшими потоками лавы, не откапывайте нас! Не для вас были воздвигнуты наши Помпеи, наши виллы, наши бани, наши храмы – не для вас! Вам не нужно богов! Мы гибнем в вашем холодном мире!

Мраморная красавица закашляла и плотнее запахнула темный соболий мех, облегавший ее плечи.

– Благодарю за данный нам классический урок, – ответил

я. – Но вы ведь не станете отрицать, что по природе мужчина и женщина – в вашем веселом, залитом солнцем мире, так же как и в нашем туманном, – враги; что любовь только на короткое время сливает их в единое существо, живущее единой мыслью, единым чувством, единой волей, чтобы потом еще сильнее разъединить их. И – это вы лучше меня знаете – кто потом не сумеет подчинить другого себе, тот страшно быстро почувствует ногу другого на своей спине…

– И обыкновенно даже, именно мужчина ногу женщины… – воскликнула мадам Венера насмешливо и высокомерно. – Это-то уж вы лучше меня знаете.

– Конечно. Вот потому-то я и не строю себе иллюзий.

– То есть вы теперь мой раб без иллюзий… и я за то без сострадания буду топтать вас…

– Сударыня!

– Разве вы до сих пор меня не знаете? Ну да, я жестока, – раз уж вам такое удовольствие доставляет это слово. И разве я не права тем, что жестока? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина – предмет этих стремлений; это ее единственное, но зато решительное преимущество. Природа отдала на ее произвол мужчину с его страстью, и та женщина, которая не умеет сделать его своим подданным, своим рабом, больше, своей игрушкой – и затем со смехом изменить ему, – такая женщина просто неумна.

– Ваши принципы, глубокоуважаемая… – начал я, возмущенный.

– …покоятся на тысячелетнем опыте, – насмешливо перебила меня божественная, перебирая своими белыми пальцами темный волос меха. – Чем более преданной является женщина, тем скорее отрезвляется мужчина и становится властелином. И чем более она окажется жестокой и неверной, чем грубее она с ним обращается, чем легкомысленнее играет им, чем больше к нему безжалостна, тем сильнее разгорается сладострастие мужчины, тем больше он ее любит, боготворит. Так было от века во все времена – от Елены и Далилы и до Екатерины II и Лолы Монтец.

– Не могу отрицать, – сказал я, – для мужчины нет ничего пленительнее образа прекрасной, сладострастной и жестокой женщины – деспота, весело, надменно и беззаветно меняющей своих любимцев по первому капризу…

– И облаченной к тому же в меха! – воскликнула богиня.

– Как это вам в голову пришло?

– Я ведь знаю ваше пристрастие.

– Но, знаете ли, – заметил я, – с тех пор, как мы с вами не виделись, вы стали большой кокеткой…

– О чем это вы, позвольте спросить?

– О том, что в мире нет и не может быть ничего обворожительнее для вашего белого тела, чем этот покров из темного меха, и что он…

Богиня засмеялась.

– Вы грезите! – промолвила она. – Проснитесь-ка! – И она схватила меня за руку своей мраморной рукой. – Да просни-

тесь же! – прогремел ее голос низким грудным звуком.

Я с усилием открыл глаза.

Я увидел тормошившую меня руку, но рука эта оказалась вдруг темной, как из бронзы, и голос оказался сиплым, пьяным голосом моего денщика, стоявшего предо мной во весь свой почти саженный рост.

– Да вставайте же, что это, срам какой!

– Что такое? Почему срам?

– Срам и есть – заснуть одетым, да еще за книгой! – Он снял нагар с оплывших свечей и поднял выскользнувшую из моих рук книгу. – Да еще за сочинением (он открыл крышку переплета) Гегеля… И потом, давно пора уж к господину Северину ехать, он к чаю нас ждет.

* * *

– Странный сон!.. – проговорил Северин, когда я кончил рассказ, облокотился руками на колени, склонил лицо на свои тонкие руки с нежными жилками и глубоко задумался.

Я знал, что он долго так просидит, не шевелясь, почти не дыша; так это действительно и было. Меня не поражало его поведение – мы состояли с ним уже почти три года в отличных приятельских отношениях, и я успел привыкнуть ко всем его странностям.

А странный человек он был, этого отрицать нельзя было, хотя и далеко не такой опасный безумец, каким его считали

не только ближайшие соседи, но и всюду окрест во всей Коломее. Меня же он не только интересовал, – за это и я прослыл среди многих немножко свихнувшимся, – но и весь он был мне в высшей степени симпатичен.

Для человека его положения и возраста, – он был галицийский дворянин и помещик, и было ему лет тридцать с небольшим, – он был поразительно трезвомыслящий человек, очень серьезного склада, даже до педантизма. В основу своей жизни он положил полуфилософскую, полупрактическую систему, которую проводил с мелочной выдержанностью, и жил не только по ней, но в то же время еще и по часам, по термометру, по барометру, по аэрометру, по гигрометру. Но при этом временами его постигали припадки страстности, во время которых всякий, глядя на него, считал его способным головой стену прошибить и тщательно избегал его, боясь попасться ему на дороге.

Пока он так долго сидел безмолвно, кругом раздавались разнообразные звуки: потрескивал в камине огонь, пыхтел большой почтенный самовар, поскрипывало старое прадедовское кресло, в котором я, покачиваясь, курил свою сигару, трещал сверчок в стенах старого дома, – и глаза мои бесцельно блуждали по странной, оригинальной утвари, по скелетам животных, по чучелам птиц, по глобусам и гипсовым фигурам, которыми загромождена была его комната.

Вдруг мне на глаза случайно попалась картина. Я часто видел ее и раньше, но отчего-то теперь я не мог оторвать от

нее глаз: такое неизъяснимое впечатление произвела она на меня в эту минуту, освещенная красным отблеском пламени в камине.

На ней была изображена прекрасная женщина, с солнечно-яркой улыбкой на нежном лице, с пышной массой волос, собранных в античный узел, и с легким налетом белой пудры на них; опершись на левую руку, она сидела на оттоманке нагая, завернутая в меховой плащ, правая рука ее играла хлыстом, а обнаженная нога небрежно опиралась на мужчину, распростертого перед ней, как раб, как собака.

И этот мужчина, с резкими, но правильными и красивыми чертами лица, с выражением затаенной тоски и беззаветной страсти поднимавший к ней горячий мечтательный взгляд мученика, – этот мужчина, служивший подножной скамейкой ногам красавицы, был сам Северин. Только без бороды – по-видимому, лет на десять моложе, чем теперь.

– *Венера в мехах!* – воскликнул я, указывая на картину. – Такой я и видел ее во сне.

– Я тоже… – отозвался Северин. – Только я видел свой сон открытыми глазами.

– Как так?

– Ах, это очень глупая история.

– Твоя картина, вероятно, и послужила поводом для моего сна, – сказал я. – Ты должен мне рассказать, однако, что у тебя связано с этой картиной. Несомненно, она играла какую-то роль в твоей жизни, и, по-видимому, очень реши-

тельную… Я это представляю себе, но узнать все хочу от тебя.

– Взгляни-ка на другую, ее pendant, – сказал мой странный друг, не обращая внимания на мои слова.

Другая представляла превосходную копию известной тициановской «Венеры с зеркалом» из Дрезденской галереи.

– Ну, что же ты хочешь сказать своим сопоставлением?

Северин встал и указал пальцем на картине мех, в который облек Тициан свою богиню любви.

– Здесь тоже «Венера в мехах», – сказал он с легкой улыбкой. – Не думаю, чтобы старый венецианец проявил в этом какой-нибудь умысел. Вероятно, он просто писал портрет какой-нибудь знатной Мессалины и был так любезен, что заставил держать перед ней зеркало – в котором она с холодным довольством исследует свои величавые чары, – Амура, а ему, по-видимому, эта работа не очень сладка.

Эта картина – сплошная месть в красках. Впоследствии какой-нибудь «знаток» эпохи рококо окрестил эту даму именем Венеры, и меха деспотической красавицы, в которые закуталась прекрасная натурщица Тициана, наверное, не столько из целомудрия, сколько из боязни схватить насморк, сделались символом тирании и жестокости, таящихся в женщине и ее красоте.

Но дело не в этом. Картина эта, в своем нынешнем виде, является самой едкой, злой сатирой на нашу любовь. Венера, вынужденная кутаться на нашем абстрактном севере, в, как

лед, холодном христианском мире, в просторные, тяжелые меха, – чтобы не простудиться!..

Северин засмеялся и закурил новую папиросу.

В эту самую минуту скрипнула дверь и в комнату вошла, неся нам к чаю холодное мясо и яйца, красивая полная блондинка, с умными и приветливыми глазами, одетая в черное шелковое платье. Северин взял одно яйцо и разбил его краем ножа.

– Говорил я тебе, чтоб яйца были всмятку?! – крикнул он так резко, что молодая женщина вздрогнула.

– Но… Севчу, милый!.. – испуганно пробормотала она.

– Что там «Севчу»! – закричал он снова. – Слушаться ты должна, понимаешь? Слушаться меня!..

И он сорвал со стены плетку, висевшую рядом с его оружием.

Как пойманный зверь, пугливо бросилась хорошенькая женщина к двери и быстро выскользнула из комнаты.

– Ну, подожди… еще попадешься мне в руки! – крикнул он ей вслед.

– Что с тобой, Северин! – сказал я, кладя руку на рукав его сюртука. – Как можно так обращаться с этой хорошенькой маленькой женщиной!

– Да, смотри на них, на женщин! – возразил он, шутливо подмигнув глазом. – Если бы я льстил ей, она накинула бы мне петлю на шею, – а так, когда я ее воспитываю плетью, она на меня молится…

– Полно тебе вздор говорить!

– Это ты вздор говоришь. Женщин необходимо так дрессировать.

– Да, по мне, живи себе, если угодно, как паша в своем гареме, но не предъявляй мне теорий…

– Отчего и не теорий?! – с живостью воскликнул он. – Знаешь гётевское: «Ты должен быть либо молотом, либо наковальней», – ни к чему это не применимо в такой мере, как к отношениям между мужчиной и женщиной, – это тебе, между прочим, развивала и мадам Венера в твоем сне. На страсти мужчины основано могущество женщины, и она отлично умеет воспользоваться этим, если мужчина оказывается недостаточно предусмотрительным. Перед ним один только выбор – быть либо тираном, либо рабом. Стоит ему поддаться чувству на миг – и голова его уже окажется под ярмом и он тотчас почувствует на себе кнут.

– Диковинная теория!

– Не теория, а практика, опыт, – возразил он, кивнув головой. – Меня в самом деле хлестали кнутом, это не шутка… Теперь я выздоровел. Хочешь прочесть, как это все случилось?

Он встал и вынул из ящика своего массивного письменного стола небольшую рукопись.

– Ты прежде спросил меня о той картине, – сказал он, положив передо мной на стол рукопись. – Я давно уже в долгу у тебя с этим объяснением. Возьми это – прочти!

Северин сел у камина спиной ко мне и, казалось, уснул с открытыми глазами. По выражению его лица можно было думать, что он видит сны. Снова в комнате все стихло, слышны были только треск дров в камине, тихое гудение самовара и стрекотание сверчка за старой стеной.

Я раскрыл рукопись и прочел:

«Исповедь метафизика»

На полях рукописи красовались, в качестве эпиграфа, видоизмененные известные стихи из Фауста:

> «Тебя, метафизик, чувственник, женщина водит за нос!
> *Мефистофель».*

Я перевернул заглавный лист и прочел:

«Нижеследующее я составил по своим тогдашним заметкам в дневнике; свободно восстановить свое прошлое правильно – трудно, а так все сохраняет свою свежесть, правдивые краски настоящего».

* * *

Гоголь, этот русский Мольер, где-то говорит – не помню, где именно… ну, все равно, – что истинный юмор – это тот, в котором сквозь «видимый миру смех» струятся «незримые

миру слезы».

Дивное изречение!

Странное настроение охватывает меня порою в течение того времени, что я пишу эти записки.

Воздух кажется мне напоенным волнующими ароматами цветов, которые опьяняют меня и причиняют мне головную боль. В извивающихся струйках дыма мне чудятся образы маленьких домовых с седыми бородами, насмешливо указывающих пальцами на меня. По локотникам моего кресла и по моим коленям, мнится мне, скользят верхом толстощекие амуры, – и я невольно улыбаюсь, даже громко смеюсь, записывая свои приключения… И все же я пишу не обыкновенными чернилами, а красной кровью, которая сочится у меня из сердца, потому что теперь вскрылись все его зарубцевавшиеся раны, и оно сжимается и болит, и то и дело каплет слеза на бумагу.

* * *

В ленивой праздности тянутся дни в маленьком курорте в Карпатах. Никого не видишь, никто тебя не видит. Скучно до того, что хоть садись идиллии сочинять. У меня здесь столько досуга, что я мог бы написать целую галерею картин, мог бы снабдить театр новыми пьесами на целый сезон, для целой дюжины виртуозов написать концерты, трио и дуэты, но… что толковать! – в конце концов я успеваю только на-

тянуть холст, разложить листы бумаги, разлиновать нотные тетради, потому что я…

Только без ложного стыда, друг Северин! Лги другим, но обмануть себя самого тебе уже не удастся. Итак, скажем правду: потому что я не что иное, как дилетант. Только дилетант – и в живописи, и в литературе, и в музыке, и еще кое в чем из тех так называемых бесхлебных искусств, жрецы которых получают от них нынче министерские доходы, а порой и положение маленьких владетельных князей… Ну, и прежде всего я – дилетант в жизни.

Жил я до сих пор так же, как писал картины и книги, то есть я ушел не дальше грунтовки, планировки, первого акта, первой строфы. Бывают такие люди, которые вечно только начинают и никогда не доводят до конца; вот и я один из таких людей.

Но к чему вся эта болтовня?

К делу.

Я высовываюсь из окна и нахожу, в сущности, бесконечно поэтичным то гнездо, в котором я изнываю. Вид отсюда на высокую голубую стену гор, обвеянную золотистым ароматом солнца, вдоль которой извиваются стремительные каскады ручьев, словно серебряные ленты… Как ясно и сине небо, в которое упираются снеговые вершины; как зелены и ярко свежи лесистые откосы, луга с пасущимися на них стадами, вплоть до желтых волн зреющих нив, среди которых мелькают фигуры жнецов, то исчезая, нагнувшись, то снова

выныривая.

Дом, в котором я живу, расположен среди своеобразного парка, или леса, или лесной чащи – это можно назвать как угодно; стоит он очень уединенно.

Никто в нем не живет, кроме меня и какой-то вдовы из Лемберга, – да еще домовладелицы Тартаковской, маленькой, старенькой женщины, которая с каждым днем становится меньше ростом и старее, – да старого пса, хромающего на одну ногу, да молодой кошки, вечно играющей с тем же клубком ниток; а клубок ниток принадлежит, я полагаю, прекрасной вдове.

А она, кажется, действительно красива – эта вдова, и еще очень молода, ей не больше двадцати четырех лет, и очень богата. Она живет в верхнем этаже, а я в первом, вровень с землей. Зеленые жалюзи на ее окнах всегда опущены, балкон – весь заросший зелеными вьющимися растениями. Зато у меня есть внизу милая, уютная беседка, обвитая диким виноградом, в которой я читаю, и пишу, и рисую, и пою – как птица в ветвях.

Из беседки мне виден балкон. Иногда я и поднимаю глаза к нему, вверх, и время от времени сквозь густую зеленую сеть мелькнет белое платье.

В сущности, меня очень мало интересует красивая женщина там, наверху, потому что я влюблен в другую, и, надо сказать, до последней степени безнадежно влюблен – еще гораздо более безнадежно, чем рыцарь Тоггенбург и Шевалье

в Манон Леско, – потому что моя возлюбленная… из камня.

Есть в саду, там, в маленькой чаще, восхитительная лужайка, на которой мирно пасутся два-три домашних зверька. На этой лужайке стоит каменная статуя Венеры – кажется, копия с оригинала во Флоренции. Эта Венера – самая красивая женщина, которую я когда-либо в жизни видел.

Это еще не так много значит, правда, – потому что я видел мало красивых женщин, да и женщин вообще мало видел; я и в любви дилетант, никогда не уходивший дальше грунтовки, первого акта.

Но к чему тут сравнения, – как будто то, что прекрасно, может быть превзойдено?

Довольно того, что эта Венера прекрасна и что я люблю ее – так страстно, так болезненно нежно, так безумно, как можно любить только женщину, неизменно отвечающую на любовь вечно одинаковой, вечно спокойной, каменной улыбкой. Да, я буквально молюсь на нее.

Часто, когда солнце жарко палит деревья, я укладываюсь близ нее под сенью молодого бука и читаю; часто я посещаю мою холодную, жестокую возлюбленную и по ночам, – тогда я становлюсь пред ней на колени, прижавшись лицом к холодным камням, на которых покоятся ее ноги, и беззвучно молюсь ей.

Нет слов выразить эту красоту, когда над ней восходит луна – теперь она как раз близится к полнолунию – и плывет среди деревьев, и лужайка залита серебряным блеском… а

богиня стоит, словно просветленная, и как будто купается в ее мягком сиянии.

Однажды, возвращаясь с такой молитвы, я заметил: в одной из аллей, ведущих к дому, мелькнула вдруг, отделенная от меня одной зеленой галереей, женская фигура – белая, как камень, и облитая лунным светом. На мгновение меня охватило такое чувство, как будто моя прекрасная мраморная женщина сжалилась надо мной и ожила и пошла за мной… И душу мне оковал безотчетный страх, сердце трепетало, словно готовое разорваться, – и вместо того чтобы…

Ну, да ведь я дилетант. И как всегда, я застрял на втором стихе… Нет, я не застрял, наоборот, – я побежал так быстро, как только хватило моих сил.

* * *

Вот случайность! У еврея, торговца фотографиями, оказывается как раз снимок с моего идеала! Небольшой листок – «Венера с зеркалом» Тициана… Что это за женщина! Я напишу стихотворение. Нет! Я возьму листок и подпишу под ним: *«Венера в мехах»*.

Ты зябнешь, – ты, сама зажигающая пламя! Закутайся же в свои деспотические меха, – кому они и приличествуют, если не тебе, жестокая богиня красоты и любви!..

И через некоторое время я прибавил к подписи несколько стихов из Гёте, которые я недавно нашел в его Паралипомене

к Фаусту.

«Амуру! Обманчивые крылышки и стрелы – не стрелы, а когти, и скрытые рожки под венком. Сомненья нет: как все боги Греции, и он лишь – замаскированный черт».

Затем я поставил гравюру пред собой на стол, оперев ее о книгу, и принялся рассматривать ее.

Холодное кокетство прекрасной женщины, с которым она драпирует свою красоту темными собольими мехами, строгость, жестокость, лежащая в дивных чертах мраморного лица, меня чаруют и внушают мне в то же время ужас.

Я снова берусь за перо, и вот что ложится на бумагу:

«Любить, быть любимым – какое счастье! И все же как бледнеет его яркий восход перед полным муки блаженством – боготворить женщину, которая делает нас своей игрушкой, быть рабом прекрасной тиранки, безжалостно топчущей нас ногами. Даже Самсон – этот великан – отдался еще раз в руки Далилы, изменившей ему, и она еще раз предала его, и филистимляне связали его на ее глазах и выкололи ему глаза, остававшиеся до последнего мгновения отуманенными яростью и любовью, прикованными к прекрасной изменнице».

* * *

Я завтракал в своей беседке и читал Книгу Юдифи и завидовал злому язычнику Олоферну за его кроваво-прекрасную кончину, за отсеченную рукой царственной женщины

голову его.

«И покарал его Господь и отдал его в руки женщины».

Эта фраза поразила меня.

Как нелюбезны эти евреи, думал я. Да и сам Бог их! – Мог же он выбрать поприличнее выражения, говоря о прекрасном поле!

«Бог покарал его и отдал в руки женщины»… – повторил я про себя.

Что бы мне придумать, что совершить, чтобы он покарал меня?

Ах, ради бога… Опять является эта домохозяйка; за ночь она еще сморщилась и стала еще немножко меньше. А там, наверху, опять что-то белеет меж зеленых ветвей…

Венера или вдова?

На этот раз вдова, потому что госпожа Тартаковская, приседая, просит у меня от ее имени книг для чтения.

Я бегу к себе в комнату и быстро тащу со стола пару томов.

Слишком поздно уже я вспоминаю, что в одном из них лежит моя гравюра – Венера. И теперь она у белой женщины там, наверху, вместе со всеми моими излияниями.

Что-то она об этом скажет?

Я слышу, она смеется.

Не надо мной ли?

* * *

Полнолуние! Вон уже вышла луна из-за верхушек невысоких елей, окаймляющих парк, и серебристый аромат разлился над террасой, над группами деревьев, залил всю местность, какую только можно охватить глазом, и мягко трепещет вдали, словно зыбкая поверхность вод.

Так странно манит, зовет… Я не в силах противиться. Одеваюсь снова и выхожу в сад.

Меня влечет туда, на лужайку, к ней – к моей богине, к моей возлюбленной.

Прохладная ночь. Я зябну от свежести. Воздух опьяняет тяжелым ароматом цветов, лесной чащи.

Как торжественно вокруг! Какая музыка ночи… Томительно рыдает соловей. Звезды тихо-тихо мерцают в бледно-голубой выси. Лужайка кажется гладкой, как зеркало, как ледяной покров пруда.

Светло и величаво высится предо мной статуя Венеры.

Но что это там темнеет?..

С мраморных плеч богини ниспадает до самых ступней ее длинный меховой плащ…

Я стою в оцепенении, не сводя с нее глаз, – и снова чувствую, как меня охватывает неизъяснимый знакомый тоскливый испуг… и бегу прочь.

Я бегу торопливо, все ускоряя шаги, – и вдруг замечаю,

что ошибся аллеей. Возвращаюсь и только что хочу направиться в один из боковых зеленых коридоров, смотрю – прямо передо мной, на каменной скамье сидит Венера – моя прекрасная, каменная богиня… нет! живая, настоящая богиня любви – с горячей кровью, бегущей по жилам…

Да, она ожила для меня – как статуя Галатеи, начавшая дышать для своего творца… Правда, чудо совершилось только наполовину: еще из камня ее белые волосы, еще мерцают, как лунные лучи, ее белые одежды… или это атлас?.. А с плеч ниспадает темный мех… Но губы уже красны, и окрашиваются щеки, и из глаз ее струятся в мои глаза два дьявольских зеленых луча. И вот она смеется!

О, какой это странный смех, неизъяснимый!.. У меня захватывает дух, и я бегу, бегу без оглядки, но через каждые несколько шагов вынужден останавливаться, чтобы перевести дух… А этот насмешливый хохот преследует меня через темные сплетения листвы, через озаренные светом дерновые площадки, сквозь чащу, в которую врываются одинокие лунные лучи… Я сбился, мечусь по дорожкам, не знаю, куда идти, – на лбу у меня выступают крупные капли холодного пота.

Наконец я останавливаюсь и произношу краткий монолог.

Ведь наедине с самими собой люди всегда бывают или очень любезны, или очень грубы.

И вот я говорю себе:

– Осел!

Волшебное действие оказывает это коротенькое слово, точно заклинание, от которого вмиг рассеялись чары, и я пришел в себя.

Мгновенно я успокаиваюсь и удовлетворенно повторяю:

– Осел!

И вот я снова вижу все отчетливо и ясно. Вот фонтан, вон буковая аллея, а вон там и дом. И я медленно направляюсь теперь к нему.

Вдруг – еще раз, внезапно – за зеленой стеной, залитой лунным сиянием, затканной серебром, – еще раз мелькнула белая фигура, прекрасная каменная женщина, которую я боготворю, которой я боюсь, от которой я бегу.

Два-три прыжка – и я дома, перевожу дух и задумываюсь.

Что же теперь? Что я такое: маленький дилетант или большой осел?

* * *

Знойное утро – в воздухе душно, тянет крепкими, волнующими ароматами.

Я снова сижу в своей беседке, увитой диким виноградом, и читаю «Одиссею». Читаю об очаровательной волшебнице, превращающей своих поклонников в зверей. Дивный образ античной любви.

Тихо шелестят ветви и стебли, шелестят листы моей книги, что-то шелестит и на террасе.

Женское платье…

Вот *она*… Венера… только без мехов… нет! теперь другая… это вдова!.. И все же… она… Венера!.. О, что за женщина!

Вот она предо мной – в легком белом утреннем одеянии – и смотрит на меня…

Какой поэзией, какой дивной прелестью и грацией дышит ее изящная фигура!

Она не высока, но и не мала. Головка – не строгой красоты, она скорее обаятельна, как головка французской маркизы XVIII столетия. Но как обворожительна! Мягкий и нежный рисунок не слишком маленького рта, чарующая шаловливость в выражении полных губ… кожа так нежно-прозрачна, что всюду сквозят голубые жилки, – не только на лице, но и на закрытых тонкой кисеей руках и груди… пышные красные волосы… да, волосы рыжи – не белокуры, не золотисты – рыжи, но как демонически прекрасно и в то же время прелестно, нежно обвивают они затылок… Вот сверкнули ее глаза – словно две зеленые молнии… Да, они зеленые, эти глаза, с их неизъяснимым выражением, кротким и властным, – зеленые, но того глубокого таинственного оттенка, какой бывает в драгоценных камнях, в бездонных горных озерах.

Она заметила мое смущение, – а растерялся я до невежливости, до того, что забыл встать, снять фуражку с головы.

Она лукаво улыбнулась.

Наконец я подымаюсь, кланяюсь. Она подходит ближе и разражается звонким, почти детским смехом. Я что-то бормочу, запинаясь, – как может только бормотать в такую минуту маленький дилетант или большой осел.

Так мы познакомились.

Богиня осведомилась о моем имени и назвала свое.

Ее зовут Ванда фон Дунаева.

И она действительно моя Венера.

– Но, сударыня, как пришла вам в голову такая идея?

– Мне ее подала гравюра, лежавшая в одной из ваших книг…

– Я забыл ее…

– Ваши странные заметки на обороте…

– Почему странные?

Она смотрела мне прямо в глаза.

– Мне всегда хотелось встретить настоящего мечтателя-фантаста… ради разнообразия… Ну, а вы мне кажетесь, по всему, одним из самых безудержных…

– Многоуважаемая… в самом деле… – И я чувствую, что у меня опять глупо, идиотски спотыкается язык и, в довершение, я краснею – так, как это еще прилично было бы шестнадцатилетнему юноше, но не мужчине, который почти на целых десять лет старше…

– Вы сегодня ночью испугали меня.

– Да, собственно, дело в том, что… не угодно ли вам, впрочем, присесть?

Она села и, видимо, забавлялась моим испугом, – а мне действительно и теперь, средь бела дня, становилось все более и более страшно – очаровательная усмешка дрожала вокруг ее верхней губы.

– Вы смотрите на любовь, – заговорила она, – и прежде всего на женщину, как на нечто враждебное, перед чем вы стараетесь, хотя и тщетно, защищаться, но чью власть вы чувствуете, как сладостную муку, как жалящую жестокость. Взгляд вполне современный.

– Вы с ним не согласны?

– Я с ним не согласна, – подхватила она быстро и решительно и несколько раз покачала головой, отчего локоны ее заколыхались, как огненные струйки. – Для меня веселая чувственность эллинской любви – радости без страдания – идеал, который я стремлюсь осуществить в личной жизни. Потому что в ту любовь, которую провозглашает христианство, которую проповедуют современные люди, эти рыцари духа, – в нее я не верю.

Да, да, смотрите на меня. Я не только еретичка – гораздо хуже: я – язычница.

> Не думала долго богиня любви,
> Когда ей понравился в роще Анхиз.

Меня всегда восхищали эти стихи из римской элегии Гёте. В природе лежит только эта любовь, любовь героической

эпохи, та, которую «любили боги и богини». Тогда – «за взглядом следовало желание, за желанием следовало наслаждение».

Все иное – надуманно, неискренно, искусственно, аффектированно. Благодаря христианству – этой жестокой эмблеме его – кресту… душа моя содрогается ужасом от него… – в природу и ее безгрешные инстинкты были внесены элементы чуждые, враждебные. Борьба духа с чувственным миром – вот евангелие современности. Я не принимаю его!

– Да, вам бы жить на Олимпе, сударыня, – ответил я. – Ну, а мы, современные люди, не переносим античной веселости, – по крайней мере в любви. Одна мысль – делить женщину, хотя бы она была какой-нибудь Аспазией, с другими – нас возмущает, мы ревнивы, как наш Бог. И вот почему у нас имя очаровательной Фрины стало бранным словом.

Мы предпочитаем скромную, бледную гольбейновскую деву, принадлежащую нам одному, – античной Венере, которая как бы она ни была божественно прекрасна, любит сегодня Анхиза, завтра Париса, послезавтра Адониса. И если случится, что в нас одерживает верх стихийная сила и мы отдаемся пламенной страсти к подобной женщине, то ее жизнерадостная веселость нам кажется демонической силой, жестокостью, и в нашем блаженстве мы видим грех, который требует искупления.

– Значит, и вы увлекаетесь современной женщиной? Этой бедной истерической женщиной, которая, как сомнамбула,

вечно бродит в поисках несуществующего идеала мужчины, плода своего воображения, и в своем бреде не умеет оценить лучшего мужчину, в вечных слезах и муках, ежеминутно оскорбляя свой христианский долг, мечется, обманывая, и, обманутая, выбирая, покидая и снова ища, никогда не умеет ни изведать счастье, ни дать счастье и только клянет судьбу – вместо того, чтобы спокойно сознаться: я хочу любить и жить, как любили и жили Елена и Аспазия.

Природа не знает прочных и длительных отношений между мужчиной и женщиной!

– Сударыня…

– Дайте мне договорить. Только эгоизм мужчины стремится схоронить женщину, как сокровище. Все попытки внести эту прочность в самую изменчивую из всех изменчивых сторон человеческого бытия – в любовь – путами священных обрядов, клятв и договоров потерпели крушение. Можете ли вы отрицать, что наш христианский мир разлагается?

– Но, сударыня…

– Но единичные мятежные личности, восстающие против общественных установлений, изгоняются, клеймятся позором, забрасываются каменьями… – вы это хотели сказать, конечно? Ну, хорошо. У меня хватает дерзновения, я хочу прожить свою жизнь согласно своим языческим принципам. Я отказываюсь от вашего лицемерного уважения, я предпочитаю быть счастливой.

Те, кто выдумали христианский брак, отлично сделали, что выдумали одновременно и бессмертие. Но я нисколько не думаю о жизни вечной, – если с последним моим вздохом здесь на земле для меня, как для Ванды фон Дунаевой, все кончено, – что мне из того, что мой чистый дух воссоединится в песнопении с хором ангелов или что мой прах сольется в материю для новых существ?

А если я сама, такова, какова я есть, больше жить не буду – во имя чего же я стану отрешаться от радостей? Принадлежать человеку, которого я не люблю, только потому, что я когда-то его любила? Нет! Я не хочу отречения – я люблю всякого, кто мне нравится, и дам счастье всякому, кто меня любит. Разве это гадко? Нет, это гораздо красивее, во всяком случае, чем если бы я стала жестоко наслаждаться мучениями, которые я причиняю, и добродетельно отворачиваться от бедняги, изнывающего от страсти ко мне. Я молода, хороша и богата – и весело живу для удовольствия, для наслаждения.

Пока она говорила и глаза ее лукаво сверкали, я схватил ее руки, хорошенько не сознавая, что хотел делать с ними, но теперь, как истинный дилетант, торопливо выпустил их.

– Ваша искренность восхищает меня, – сказал я, – и не одна она…

Опять все то же – проклятый дилетантизм перехватил мне горло!

– Что же вы хотели сказать?

– Что я хотел?.. Да, я хотел… простите… сударыня… я

перебил вас.

– Что такое?

Долгая пауза. Наверное, она говорит про себя целый монолог, который в переводе на мой язык исчерпывается одним-единственным словом: осел!

– Если позволите спросить, сударыня, – заговорил я наконец, – как вы дошли до… до этого образа мыслей?

– Очень просто. Мой отец был человек очень умный. Меня с самой колыбели окружали копии античных статуй, в десятилетнем возрасте я читала Жиль Блаза. Как большинство детей считают Мальчика с пальчик, Синюю бороду и Золушку, так считала я своими друзьями Венеру и Аполлона, Геркулеса и Лаокоона. Мой муж был человек веселый, жизнерадостный; ничто не могло надолго омрачить его чело, ни даже неизлечимая болезнь, постигшая его вскоре после того, как мы поженились.

Даже в ночь накануне своей смерти он взял меня к себе в постель, а в течение долгих месяцев, которые он провел в своем кресле на колесах, он часто шутя говорил мне: «Есть уже у тебя поклонник?» Я загоралась от стыда.

А однажды он прибавил: «Не обманывай меня, это было бы гадко. А красивого мужчину найди себе – или даже лучше сразу нескольких. Ты – чудесная женщина, но при этом полуребенок еще, ты нуждаешься в игрушках».

Вам не нужно говорить, надеюсь, что, пока он был жив, я поклонников не имела; но он воспитал меня такой, какова я

теперь: гречанкой.

– Богиней… – поправил я.

– Какой именно? – спросила она, улыбнувшись.

– Венерой!

Она погрозила мне пальцем и нахмурила брови.

– И даже «Венерой в мехах»… Погодите же, – у меня есть большая шуба, которой я могу укрыть вас всего, – я поймаю вас в нее, как в сети.

– И вы полагаете, – быстро заговорил я, так как меня осенила мысль, показавшаяся мне в ту минуту, при всей ее простоте и банальности, очень дельной, – вы полагаете, что ваши идеи возможно проводить в наше время? Что Венера может разгуливать во всей своей нескрываемой и радостной красоте в мире железных дорог и телеграфов?

– *Нескрываемой* – нет, конечно! В шубе! – воскликнула она, смеясь. – Хотите видеть мою шубу?

– И потом…

– Что же «потом»?

– Красивые, свободные, веселые и счастливые люди, какими были греки, возможны только тогда, когда существуют *рабы,* которые делают все прозаические дела повседневной жизни и которые прежде всего – работают на них.

– Разумеется, – весело ответила она. – И прежде всего, олимпийской богине, вроде меня, нужна целая армия рабов. Берегитесь же меня!

– Почему?

Я сам испугался той смелости, с которой у меня вырвалось это «почему». Она же нисколько не испугалась; у нее только слегка раздвинулись губы, так что из-за них сверкнули маленькие белые зубы, и потом проронила вскользь, как будто дело шло о чем-нибудь таком, о чем и говорить не стоило:

– Хотите быть моим рабом?

– Любовь не знает разграничений, – ответил я торжественно-серьезно. – Но если бы я имел право выбора – властвовать или быть подвластным, – то мне показалась бы гораздо более привлекательной роль раба прекрасной женщины. Но где же я нашел бы женщину, которая не добивалась бы влияния мелочной сварливостью, а сумела бы властвовать в спокойном сознании своей силы?

– Ну, это-то было бы нетрудно, в конце концов.

– Вы думаете?..

– Ну, я, например, – она засмеялась, откинувшись на спинку скамьи. – У меня деспотический талант… есть у меня и необходимые меха… но вы сегодня ночью совсем серьезно испугались меня?

– Совсем серьезно.

– А теперь?

– Теперь… теперь-то я особенно боюсь вас!

* * *

Мы встречаемся теперь ежедневно, я и… Венера. Много

времени проводим вместе, вместе завтракаем у меня в беседке, чай пьем в ее маленькой гостиной, и я имею широкую возможность развернуть все свои маленькие, очень маленькие таланты. Для чего же я в самом деле учился всем наукам, пробовал силы во всех искусствах, если бы не сумел блеснуть перед маленькой хорошенькой женщиной?

Но эта женщина – отнюдь не маленькая и импонирует мне страшно. Сегодня я попробовал нарисовать ее – и только тут отчетливо почувствовал, как мало подходят современные туалеты к этой голове камеи. В чертах ее мало римского, но очень много греческого.

Мне хочется изобразить ее то в виде Психеи, то в виде Астарты, сообразно изменчивому выражению ее глаз – одухотворенно-мечтательному или утомленному, полному изнеможения, когда лицо ее словно опалено огнем сладострастья. Ей хочется, чтобы я писал ее портрет.

Ну, хорошо – я напишу ее в мехах.

О, как мог я колебаться хотя бы минуту! Кому же идут царственные меха, если не ей?

* * *

Вчера вечером я был у нее и читал ей римские элегии. Потом я отложил книгу и фантазировал что-то собственное. Кажется, она была довольна… даже больше: она буквально приковалась глазами к моим губам и грудь ее прерывисто

дышала.

Неужели мне это только показалось?

Дождь меланхолически стучал в оконные стекла, огонь мягко, по-зимнему, потрескивал в камине – я почувствовал себя у нее так уютно, тепло… на мгновение я забыл свое почтительное обожание и просто поцеловал руку красавицы, и она не рассердилась.

Тогда я сел у ее ног и прочел маленькое стихотворение, которое написал для нее.

Я молил в нем свою «Венеру в мехах», ожившую героиню мифа, дьявольски прекрасную женщину, мраморное тело которой покоится среди мирта и агав, положить свою ногу на голову ее раба.

На этот раз мне удалось пойти дальше первой строфы, но по ее повелению я отдал ей в тот вечер листок, на котором записал это стихотворение, и так как копии у меня не осталось, то я могу припомнить его теперь только в общих чертах.

Странное чувство я испытываю. Едва ли я влюблен в Ванду – по крайней мере, при первой нашей встрече я совершенно не испытал той молниеносной вспышки страсти, с которой начинается влюбленность. Но я чувствую, что ее необычайная, поразительная, истинно-божественная красота мало-помалу опутывает меня своей магической силой.

Не похоже оно и на возникающую сердечную привязанность. Это какая-то психическая подчиненность, захватыва-

ющая меня медленно, постепенно, но тем полнее и бесповоротнее.

С каждым днем мои страдания становятся все глубже, нестерпимее, а она… только улыбается этому.

* * *

Сегодня она сказала мне вдруг, без всякого повода:

– Вы меня интересуете. Большинство мужчин так обыкновенны – в них нет подъема, пафоса, поэзии, а в вас есть известная глубина и энтузиазм и – главное – серьезность, которая мне нравится. Я могла бы вас полюбить.

* * *

После недолгого, но сильного грозового ливня мы отправились вместе на лужайку, к статуе Венеры. Всюду над землей подымался пар, облака его неслись к небу, словно жертвенный дым; над головами нашими раскинулась разорванная радуга; ветви деревьев еще роняли капли дождя, но воробьи и зяблики уже прыгали с ветки на ветку и так возбужденно щебетали, слов но чему-то радовались. Воздух был напоен свежими ароматами.

Через лужайку трудно пройти, потому что она вся еще мокрая и блестит и искрится на солнце, словно маленький

пруд, над подвижным зеркалом которого высится богиня любви – а вокруг головы ее кружится рой мошек и, освещенный солнцем, он кажется живым ореолом.

Ванда наслаждается восхитительной картиной и, желая отдохнуть, опирается на мою руку, так как на скамьях в аллее еще не высохла вода. Все существо ее дышит сладостной истомой, глаза полузакрыты, дыхание ее ласкает мою щеку.

Я ловлю ее руку и – положительно не знаю, как я решился! – спрашиваю ее:

– Могли бы вы полюбить меня?

– Почему же? – отвечает она, остановив на мне свой спокойный и ясный, как солнце, взор. – Но не надолго.

Одно мгновение – и я стою перед ней на коленях и прижимаюсь пылающим лицом к душистым складкам ее кисейного платья.

– Ну, Северин… ведь это неприлично!

Но я ловлю ее маленькую ногу и прижимаюсь к ней губами.

– Вы становитесь все неприличнее! – восклицает она, вырывается от меня и быстро убегает в дом, а в моей руке остается ее милая, милая туфелька.

Что это? Благословение?

* * *

Весь день я не решался показаться ей на глаза. Перед ве-

чером я сидел у себя в беседке – вдруг мелькнула ее обворожительная огненная головка сквозь вьющуюся зелень ее балкона.

– Отчего же вы не приходите? – нетерпеливо крикнула она мне сверху.

Я взбежал на лестницу, но у самой двери меня снова охватила робость, и я тихонько постучался. Она сказала «войдите», а отворила дверь сама, остановившись на пороге.

– Где моя туфля?

– Она… я ее… я хочу… – бессвязно забормотал я.

– Принесите ее, потом мы будем вместе чай пить и поболтаем.

Когда я вернулся, она возилась за самоваром. Я торжественно поставил туфельку на стол и отошел в угол, как мальчишка, ожидающий наказания.

Я заметил, что у нее был немного нахмурен лоб и вокруг губ легла какая-то строгая, властная складка, которая привела меня в восторг.

Вдруг она звонко расхохоталась:

– Значит, вы… в самом деле влюблены… в меня?

– Да, и страдаю сильнее, чем вы думаете.

– Страдаете? – И она снова засмеялась.

Я был возмущен, пристыжен, уничтожен; но она ничего этого не заметила.

– Зачем же? – продолжала она. – Я отношусь к вам очень хорошо, сердечно.

Она протянула мне руку и смотрела на меня чрезвычайно дружелюбно.

– И вы согласитесь быть моей женой?

Ванда взглянула на меня… Не знаю, как это определить, как она на меня взглянула – прежде всего, кажется, изумленно, а потом немного насмешливо.

– Откуда это вы вдруг столько храбрости набрались? – проговорила она.

– Храбрости?..

– Да, храбрости жениться вообще, и в особенности на мне? Так скоро вы подружились вот с этим? – Она подняла туфельку. – Но оставим шутки. Вы в самом деле хотите жениться на мне?

– Да.

– Ну, Северин, это дело серьезное. Я верю, что вы любите меня, я тоже люблю вас – и, что еще лучше, мы интересуем друг друга, нам не грозит, следовательно, опасность скоро наскучить друг другу. Но ведь я, вы знаете, легкомысленная женщина – и именно потому-то я отношусь к браку очень серьезно, – и если я беру на себя какие-нибудь обязанности, то я хочу иметь возможность и исполнить их. Но я боюсь… нет… вам будет больно услышать это.

– Будьте искренни со мной, прошу вас! – настаивал я.

– Ну, хорошо, скажу откровенно: я не думаю, чтоб я могла любить мужчину дольше, чем…

Она грациозно склонила набок головку и соображала.

– Дольше года?

– Что вы говорите! Дольше месяца, вероятно.

– И меня не дольше?

– Ну, вас… вас, может быть, два.

– Два месяца! – воскликнул я.

– Два месяца – это очень долго.

– Сударыня, это больше, чем антично…

– Вот видите, вы не переносите правды.

Ванда прошлась по комнате, потом вернулась к камину и, прислонившись к нему, опершись рукой о карниз, молча смотрела на меня.

– Что же мне с вами делать? – заговорила она через несколько секунд.

– Что хотите, – покорно ответил я, – что вам доставит удовольствие…

– Как вы непоследовательны! – воскликнула она. – Сначала требуете, чтобы я стала вашей женой, а потом отдаете мне себя, как игрушку.

– Ванда… я люблю вас!

– Так мы снова вернемся к тому, с чего начали. Вы любите меня и хотите, чтобы я была вашей женой, – но я не хочу вступать в новый брак, потому что сомневаюсь в прочности моих и ваших чувств.

– А если я хочу рискнуть на брак с вами?

– Тогда остается еще вопрос, хочу ли я рискнуть на брак с вами? – спокойно проговорила она. – Я отлично могу себе

представить, что могла бы отдаться одному на всю жизнь; но в таком случае это должен был бы быть настоящий мужчина, который импонировал бы мне, который властно подчинил бы меня силой своей личности – понимаете? А все мужчины – я отлично это знаю! – едва только влюбятся, становятся слабы, покладисты, смешны, отдаются всецело в руки женщины, пресмыкаются перед ней на коленях. Между тем я могла бы долго любить только того, перед кем я ползала бы на коленях. Но вы мне так полюбились, что я… хочу попробовать.

Я бросился к ее ногам.

– Боже мой, вот вы уже и на коленях! – насмешливо сказала она. – Хорошо же вы начинаете!

Когда я поднялся, она продолжала:

– Даю вам год сроку – чтобы покорить меня, чтобы убедить меня, что мы подходим друг другу, что мы можем жить вместе. Если вам удастся, тогда я буду вашей женой – зато такой женой, Северин, которая будет строго и добросовестно исполнять свои обязанности. В течение этого года мы будем жить, как в браке.

Кровь бросилась мне в голову.

Загорелись вдруг и ее глаза.

– Мы поселимся вместе, у нас будут одинаковые привычки – и мы посмотрим, можем ли мы ужиться. *Предоставляю вам все права супруга, поклонника, друга.* Довольны вы?

– Я должен быть доволен.

– Вы ничего не *должны.*

– Так я хочу…

– Превосходно. Это слова мужчины. Вот вам моя рука.

* * *

Десять дней, как я не расстаюсь с ней ни на час, мы расходимся только на ночь, я могу непрерывно смотреть в ее глаза, держать ее руки, слушать ее речи, всюду сопровождать ее.

Моя любовь представляется мне глубокой, бездонной пропастью, в которую я погружаюсь все больше и больше, из которой меня уже никто не может спасти.

Сегодня днем мы улеглись на лужайке у подножия статуи Венеры. Я рвал цветы и бросал ей на колени, а она плела из них венки, которыми мы убирали нашу богиню.

Вдруг Ванда посмотрела на меня таким странным, отуманенным взглядом, что все существо мое вспыхнуло пламенем страсти. Потеряв самообладание, я охватил ее руками и прильнул губами к ее губам. Она крепко прижала меня к взволнованно дышавшей груди.

– Вы не сердитесь? – спросил я.

– Я никогда не сержусь за то, что естественно. Я боюсь только, что вы страдаете.

– О, страшно страдаю…

– Бедный друг… – проговорила она, проведя рукой по моему лбу и освобождая его от спутавшихся на нем волос. – Но

я надеюсь, – не по моей вине?

– Нет… но все же моя любовь к вам превратилась в какое-то безумие. Мысль о том, что я могу вас потерять – и, быть может, действительно потеряю, – мучает меня день и ночь.

– Но вы ведь еще и не обладаете мной, – сказала Ванда и снова взглянула на меня тем трепетным, влажным, жадно-горячим взглядом, которым только что зажгла во мне кровь.

Быстро поднявшись затем, она положила своими маленькими прозрачными руками венок из синих анемонов на белую кудрявую голову Венеры. Не владея собой, я обвил ее тело рукой.

– Я не могу больше жить без тебя, моя красавица… Поверь же мне – на этот единственный раз поверь – это не фраза, не фантазия! Всеми силами души я глубоко чувствую, как связана моя жизнь с твоею. Если ты от меня уйдешь, я зачахну, я погибну!..

– Да ведь этого не случится, глупый! Ведь я люблю тебя… глупый!..

– Но ты соглашаешься быть моей условно, – а я весь твой, весь и безусловно!..

– Это нехорошо, Северин! – воскликнула она почти испуганно. – Разве вы еще не узнали меня? Совсем не хотите понять меня? Я добра, пока со мной обращаются серьезно и благоразумно, но когда мне отдаются слишком беззаветно, во мне пробуждается злое высокомерие…

– Пусть!.. Будь высокомерна, будь деспотична, – воскликнул я в экстазе, не помня себя, – только будь моей, совсем, навеки!

Я бросился к ее ногам и обнял ее колени.

– Это нехорошо кончится, друг мой! – серьезно сказала она, не пошевельнувшись.

– О, пусть этому никогда не будет конца, – возбужденно, страстно воскликнул я, – пусть одна смерть нас разлучит! Если ты не можешь быть моей, совсем моей и на всю жизнь, – *позволь мне быть твоим рабом,* служить тебе, все сносить от тебя, – только не отталкивай меня!

– Возьмите же себя в руки, – сказала она, склоняясь ко мне и целуя меня в лоб. – Я всей душой полюбила вас, но это плохой путь, чтобы покорить меня, удержать меня.

– Я сделаю все, все, все, что вы хотите, – только бы не потерять вас! Только не потерять вас – этой мысли я не в силах перенести.

– Да встаньте же.

Я повиновался.

– Вы, право, странный человек. И вы хотите обладать мной, чего бы это вам ни стоило?

– Да, чего бы это мне ни стоило!

– Но какую же цену будет иметь для вас обладание мной, если бы, положим… – она на секунду задумалась, и в глазах ее мелькнуло что-то недоброе, жуткое… – если бы я разлюбила вас, если бы я принадлежала другому?

Все тело мое пронизала дрожь. Я поднял глаза на нее – она стояла предо мной сильная, самоуверенная, и глаза ее светились холодным блеском.

– Вот видите, – продолжала она, – вы пугаетесь одной мысли об этом!

И лицо ее вдруг озарилось приветливой улыбкой.

– Да, меня охватывает ужас, когда я представляю себе, что женщина, которую я люблю, которая отвечала мне взаимной любовью, может без всякой жалости ко мне отдаться другому. Но ведь мне не остается выбора! Что ж, если я эту женщину люблю, безумно люблю! Гордо отвернуться от нее – и в горделивом сознании своей силы погибнуть, пустить себе пулю в лоб?

Я ношу в душе два идеала женщин. Если мне не удается найти свой благородный, ясный, как солнце, идеал женщины – жены верной и доброй, готовой делить со мной все, что мне судила судьба, – я не хочу ничего половинчатого и бесцветного! – тогда я предпочитаю отдаться женщине, лишенной добродетели, верности, жалости. Такая женщина в эгоистической величавости своей отвечает моему второму идеалу. Если мне не дано изведать счастье любви во всей его полноте, то я хочу испить до дна ее страдания, ее муки – тогда я хочу, чтобы женщина, которую я люблю, меня оскорбляла, мне изменяла… и, чем более жестоко, тем лучше. И это – наслаждение!

– В уме ли вы! – воскликнула Ванда.

– Я так люблю вас – всей душой, всеми помыслами! – что только вблизи вас я и могу жить, если жить я должен. Только одним с вами воздухом я и могу дышать. Выбирайте же для меня какой хотите идеал. Сделайте из меня что хотите – своего мужа или своего раба.

– Хорошо же! – сказала Ванда, нахмуривая свои тонкие, но энергично очерченные брови. – Иметь всецело в своей власти человека, который меня интересует, который меня любит, – я представляю себе, что это должно быть весело; в развлечениях у меня, по крайней мере, недостатка не будет. Вы были так неосторожны, что предоставили выбор мне. Так вот, я выбираю: я хочу, чтоб вы были моим рабом, я сделаю из вас игрушку для себя!

– О, сделайте! – воскликнул я со смешанным чувством ужаса и восторга. – Если брак может быть основан только на полном равенстве и согласии, зато противоположности порождают самые сильные страсти. Мы с вами – противоположности, настроенные почти враждебно друг против друга. Отсюда та сильная любовь моя к вам, которая представляет частью ненависть, частью – страх.

Но при таких отношениях одна из сторон должна быть молотом, другая – наковальней. Я хочу быть наковальней. Я не мог бы быть счастлив, если бы должен был смотреть на ту, которую люблю, сверху вниз. Я хочу любить женщину, которую я мог бы боготворить, – а это возможно только в таком случае, если она будет жестока ко мне.

– Что вы, Северин! – воскликнула Ванда почти гневно. – Разве вы считаете меня способной поступать дурно с человеком, который любит меня так, как любите вы, – которого я сама люблю?

– Почему же нет, если я оттого буду только сильнее боготворить вас? Истинно любить можно только то, что выше нас, – женщину, которая подчинит нас себе властью красоты, темперамента, ума, силы воли, – которая будет нашим деспотом.

– Вас, значит, привлекает то, что других отталкивает?

– Да, это так. В этом именно моя странность.

– Ну, в конце концов, во всех наших страстях нет ничего исключительного и странного: кому же, в самом деле, не нравятся красивые меха? И кто же не знает и не чувствует, как близко родственны друг другу сладострастие и жестокость?

– Но во мне все это развито в высшей степени.

– Это доказывает, что над вами разум имеет мало власти и что у вас мягкая, податливая, чувственная натура.

– Разве и мученики были натуры мягкие и чувственные?

– Мученики?

– Наоборот, это были натуры *сверхчувственные* – метафизики, находившие наслаждение в страдании, искавшие самых страшных мучений, даже смерти, – так, как другие ищут радости. К таким сверхчувственным натурам принадлежу и я, сударыня.

– Берегитесь же! Как бы вам не сделаться при этом и му-

чеником любви, *мучеником женщины*…

* * *

Мы сидим на маленьком балконе Ванды прохладной, душистой летней ночью, и над нами стелется двойная кровля. Поближе – зеленый потолок из вьющихся растений, и в вышине – усеянный бесчисленным множеством звезд небосвод. Из парка доносится тихое, жалобное, влюбленное, призывное мяуканье кошки, а я сижу на скамейке у ног моей богини и рассказываю ей о своем детстве.

– И тогда уже у вас проявлялись эти странности? – спросила Ванда.

– О, да. Я не помню времени, когда у меня их не было. Еще в колыбели, как мне рассказывала впоследствии моя мать, я проявлял «сверхчувственность»: я не выносил здоровую грудь кормилицы и меня вынуждены были вскормить козьим молоком. Маленьким мальчиком я обнаруживал загадочную робость перед женщинами, в которой таилось, в сущности, ненормальное влечение к ним.

Серые своды и полутьма церкви тревожно настраивали меня, а вид блестящих алтарей и образов святых внушал мне настоящий страх. Зато я устремлялся тайком, как к запретной радости, к гипсовой статуе Венеры, стоявшей в небольшой библиотечной комнате моего отца, становился перед ней на колени и возносил к ней молитвы, которым меня на-

учили, – Отче наш, Богородицу и Верую.

Однажды я ночью сошел с кроватки, чтобы отправиться к ней. Луна светила мне и освещала богиню бледно-голубым холодным светом. Я распростерся перед ней и целовал ее холодные ноги, как, мне случалось видеть, наши крестьяне целовали стопы мертвого Спасителя.

Непобедимая страсть овладела мною.

Я взобрался повыше, обнял прекрасное холодное тело и поцеловал холодные губы. Вдруг меня охватил невыразимый ужас, и я убежал. Всю ночь мне снилось потом, что богиня стоит против моей постели и грозит мне поднятой рукой.

Меня рано начали учить; таким образом, я скоро поступил в гимназию и там со страстью воспринимал все, что мог мне преподать античный мир. Очень скоро я освоился с богами Греции лучше, чем с религией Христа; вместе с Парисом я отдавал Венере роковое яблоко, видел горящую Трою и следовал за Одиссеем в его странствиях. Античные образы всякой красоты глубоко запечатлевались в моей душе, оттого в том возрасте, когда все мальчики бывают грубы и грязны, я питал непреодолимое отвращение ко всему низменному, пошлому, некрасивому.

Но всего более низменными и некрасивыми казались мне, подрастающему юноше, любовные отношения к женщине – такие, какими они мне представились на первых порах, в самом простейшем своем проявлении. Я избегал всякого соприкосновения с прекрасным полом – словом, я был сверх-

чувствен до сумасшествия.

К моей матери поступила – мне было тогда лет четырнадцать приблизительно – новая горничная, прелестное существо, молодая, хорошенькая и роскошно сложенная. Однажды утром, когда я сидел за своим Тацитом, увлекаясь добродетелями древних германцев, девочка подметала мою комнату. Вдруг она остановилась, нагнулась ко мне, не выпуская щетки из рук, и пара полных, свежих, восхитительных губ прижались к моим. Поцелуй влюбленной маленькой кошки обжег меня всего, но я поднял свою «Германию», как щит против соблазнительницы, и, возмущенный, вышел из комнаты.

Ванда громко расхохоталась:

– Вы не на шутку всегда ищете ровню! Продолжайте, продолжайте!

– Никогда я не забуду еще одну сцену, относящуюся к тому же времени, – заговорил я снова. – К моим родителям приходила часто в гости графиня Соболь, приходившаяся мне какой-то троюродной теткой, женщина величавая, красивая и с пленительной улыбкой, но ненавистная мне, так как она имела в семье репутацию Мессалины. И я держался с ней до последней степени неуклюже, невежливо и злобно.

Однажды мои родители уехали на время из города. Тетка решила воспользоваться их отсутствием, чтобы задать мне примерное наказание. Неожиданно явилась она в комнату в своей подбитой мехом кацавейке, в сопровождении кухарки,

судомойки и маленькой кошки, которой я пренебрег.

Без всяких околичностей они меня схватили и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, связали по рукам и ногам; затем тетка со злобной улыбкой засучила рукава и принялась хлестать меня толстой розгой, но так усердно, что кровь брызнула, и я в конце концов, несмотря на весь свой геройский дух, закричал, заплакал и начал просить пощады.

Тогда она велела развязать меня, но, прежде чем совсем оставила в покое, заставила меня на коленях поблагодарить за наказание и поцеловать ее руку.

Представьте себе, однако, этого сверхчувственного глупца! Под розгой этой роскошной красавицы, показавшейся мне в ее меховой душегрейке разгневанной царицей, во мне впервые проснулось мужское чувство к женщине, и тетка начала казаться мне с той поры обворожительнейшей женщиной во всем Божьем мире.

По-видимому, вся моя катоновская суровость и вся робость перед женщинами были не чем иным, как утонченнейшим чувством красоты. С этой поры чувственность возросла в моей фантазии до степени культа своего рода, и я поклялся в душе не расточать ее священных переживаний на обыкновенные существа, а сохранить их для идеальной женщины – если возможно, для самой богини любви.

Я еще был очень молод, когда поступил в университет и поселился в столице, где жила тогда моя тетка. Студенческая комната моя была в то время похожа на комнату доктора Фа-

уста. В ней царил тот же хаотический беспорядок, она вся была загромождена высокими шкафами, битком набитыми книгами, которые я накупил по смехотворно дешевым ценам у еврея-антиквария в Лемберге, глобусами, атласами, картами неба, скелетами животных, масками и бюстами великих людей. Всякую минуту из-за небольшой зеленой печки мог явиться Мефистофель в образе странствующего схоласта.

Изучал я что попало – без разбора, без всякой системы, – химию, алхимию, историю, астрономию, философию, юридические науки, анатомию, литературу; читал Гомера, Вергилия, Оссиана, Шиллера, Гёте, Шекспира, Сервантеса, Вольтера, Мольера, и Коран, и Космос, и мемуары Казановы, и с каждым днем возрастала сумятица в моей душе, и все фантастичнее и абстрактнее становились мои чувства.

И в голове моей неизменно жил идеальный образ красивой женщины, время от времени оживавшей перед моими глазами, среди кожаных переплетов книг и масок, словно видение, на ложе из роз, окруженной крохотными амурами, – то в олимпийском туалете со строгим белым лицом гипсовой Венеры моей, то с пышной массой каштановых кос, со смеющимися голубыми глазами и в красной бархатной, отделанной горностаем кацавейке – в образе моей красивой тетки.

Однажды утром, когда предо мною снова встало из золотого тумана моей фантазии это чарующее видение, я пошел к графине Соболь. Она приняла меня очень любезно и при встрече одарила меня поцелуем, от которого я голову поте-

рял.

В это время ей должно было быть уже лет под сорок, но, как и большинство таких неувядающих прожигательниц жизни, она была все еще соблазнительна и по-прежнему носила отделанную мехом кацавейку, только теперь она была из зеленого бархата и отделана темно-бурой куницей. Но от прежней строгости, которая так восхищала меня тогда, не осталось и следа.

Наоборот, она была так мало жестока ко мне, что без долгих колебаний разрешила мне сделаться ее поклонником.

Она очень скоро угадала мою глупость и невинность метафизика, и ей было приятно делать меня счастливым, видеть меня счастливым. А счастлив я был, действительно, как юный бог!

Каким высоким наслаждением было для меня стоя перед ней на коленях и иметь право целовать ее руки, руки, которыми она тогда наказывала меня! О, что за дивные руки это были! Прекрасной формы, нежные, полные, белые и с восхитительными ямочками! В сущности, я был влюблен только в эти руки. Я затевал с ними нескончаемые игры, погружал их в темный волос меха, и высвобождал, и снова погружал, держал их перед огнем – наглядеться на них досыта не мог!

Ванда невольно взглянула на свои руки, я это заметил и не мог не улыбнуться:

– Что элемент сверхчувственности всегда преобладал в моей душе, вы можете видеть из того, что, будучи влюблен в

свою тетку, я был влюблен, в сущности, в жестокое наказание розгами, которому она подвергла меня, а во время увлечения одной молодой актрисой, за которой я ухаживал года два спустя, – был влюблен только в ее роли. Позже я увлекался еще одной очень уважаемой женщиной, разыгрывавшей неприступную добродетель и в заключение изменившей мне для одного богатого еврея.

Вот оттого-то я и ненавижу эту разновидность поэтичных, сентиментальных добродетелей, что меня обманула, продала женщина, лицемерно рисовавшаяся самыми строгими принципами, самыми идеальными чувствованиями. Покажите мне женщину, достаточно искреннюю и честную, чтобы сказать мне: «Я – Помпадур, я – Лукреция Борджиа», – и я буду молиться на нее!

Ванда встала и открыла окно.

– У вас оригинальная манера – разгорячать фантазию, взвинчивать нервы, ускорять биение пульса. Вы окружаете порок ореолом, если только вы искренни. Ваш идеал – смелая, гениальная куртизанка. О, вы из тех мужчин, которые способны бесповоротно погубить женщину!

* * *

Среди ночи кто-то постучал ко мне в окно; я встал, открыл его и испуганно отшатнулся. За окном стояла Венера в мехах – точь-в-точь такая, какой она явилась ко мне в пер-

вый раз.

– Вы взволновали меня вашими рассказами – я ворочалась с боку на бок в постели, не могу уснуть. Приходите-ка, поболтаем.

– Сию минуту.

Когда я вошел, Ванда сидела на корточках перед камином, стараясь растопить его.

– Осень уже чувствуется, – заговорила она, – ночи уже порядочно холодные. Боюсь, что вам это будет неприятно, но я не могу сбросить своего мехового плаща, пока в комнате не станет тепло.

– Неприятно… плутовка!.. Вы ведь знаете… – Я обнял ее и поцеловал.

– Знаю, положим, – но мне не ясно, откуда у вас это пристрастие к мехам.

– Это врожденное, я обнаруживал его еще в детстве. Впрочем, на людей нервных меха вообще действуют возбуждающе, и это вполне естественно объясняется. В них есть какое-то физическое обаяние, которому никто не в силах противиться, – какое-то острое, странное очарование. Наука доказала существование известного родства между электричеством и теплотой, а родственное действие их на человеческий организм и совсем бесспорно. Жаркие пояса порождают более страстную породу людей, теплая атмосфера вызывает возбуждение. Точно такое же влияние оказывает электричество.

Этим объясняется волшебное влияние присутствия *кошек* на очень впечатлительных людей – то обстоятельство, что эти грациозные зверьки, эти живые электрические батареи, искрящиеся и изящные, были любимцами таких людей, как Магомет, кардинал Ришелье, Кребильон, Руссо, Виланд.

– Итак, женщина, которая носит меха, не что иное, как большая кошка, как электрическая батарея большой силы? – воскликнула Ванда.

– Именно. Этим я объясняю себе и то символическое значение, которое меха приобрели как атрибут могущества и красоты.

В этом смысле в былое время монархи и могущественная знать присваивали себе исключительное право ношения их, а великие художники пользовались ими при изображении королев и красавиц, – и Рафаэль для божественных форм Форнарины и Тициан для розового тела своей возлюбленной не нашли более драгоценной декорации, чем темные меха.

– Благодарю вас за этот учено-эротический трактат, но вы не все мне сказали; вы связываете с мехом еще что-то другое, субъективное.

– Вы правы. Я уже неоднократно говорил вам, что для меня в страдании заключается особенная, своеобразная прелесть; что ничто так не в силах взвинтить мою страсть, как тирания, жестокость и – прежде всего – неверность прекрасной женщины. А такую женщину, этот странный идеал в области эстетики безобразия – с душой Нерона в теле Фрины, –

я не могу представить себе без мехов.

– Я понимаю, – проговорила Ванда, – они придают женщине что-то властное, импозантное.

– Не одно это, – продолжал я. – Вы знаете, что я – «сверхчувствен», что у меня все коренится больше всего в фантазии и из фантазии питается. Я развился очень рано и с ранних лет обнаруживал повышенную впечатлительность. В десятилетнем возрасте мне попали в руки жития мучеников. Я помню свое чувство ужаса и в то же время восторга, когда я читал, как они изнывали в темницах, как их клали на раскаленные колосники, простреливали стрелами, бросали в кипящую смолу, отдавали на съедение диким зверям, распинали на кресте, – и они выносили все эти ужасы как будто с радостью.

С тех пор мне начали представляться страдания, жестокие мучения – наслаждением, и особенно высоким наслаждением – переносить их от прекрасной женщины, потому что женщина была для меня с самого раннего возраста средоточием всего поэтического, как и всего демонического.

Женщина была моим истинным культом.

Я видел в чувственности нечто священное – даже единственное священное; в женщине и ее красоте – нечто божественное, так как главное назначение ее составляет важнейшую задачу жизни: продолжение рода. В женщине я видел олицетворение природы, *Изиду,* а в мужчине – ее жреца, ее раба. Я исповедовал, что женщина должна быть по отноше-

нию к мужчине жестока, как природа, которая отталкивает от себя то, что служило для ее надобностей, когда больше в нем не нуждается, и что ему, мужчине, все жестокости, даже самая смерть от ее руки должны казаться высоким счастьем сладострастия.

Я завидовал королю Гунтеру, которого властная Брунгильда связала в брачную ночь; бедному трубадуру, которого его своенравная повелительница велела зашить в волчью шкуру, чтобы потом затравить его, как дикого зверя. Я завидовал рыцарю Этираду, которого смелая амазонка Шарка хитростью поймала в лесу близ Праги, затащила на гору и, позабавившись им некоторое время, велела его колесовать…

– Отвратительно, ужасно! – воскликнула Ванда. – Желала бы я, чтобы вы попали в руки женщины этой дикой расы, – в волчьей шкуре, под зубами псов или на колесе, – поэзия для вас небось исчезла бы!

– Вы думаете? Я этого не думаю.

– Ну, вы в самом деле не вполне нормальны.

– Возможно. Выслушайте меня, однако, до конца. С тех пор я с настоящей жадностью набросился на книги, в которых описывались самые ужасные жестокости, и с особенным наслаждением рассматривал картины, гравюры, на которых они изображались, – кровожадных тиранов, сидевших на троне, инквизиторов, подвергавших еретиков пыткам, сожжению, казням всякого рода, всех женщин, отмеченных на страницах всемирной истории, известных своим сладостра-

стием, своей красотой, своим могуществом, вроде Лукреции Борджиа, Агнесы Венгерской, королевы Марго, Изабеллы, султанши Роксоланы, монархинь восемнадцатого столетия, – и всех их я видел в мехах или в горностаем подбитых мантиях.

– И оттого меха пробуждают ваши давнишние странные фантазии, – сказала Ванда, кокетливо кутаясь в то же время в свой великолепный меховой плащ, и темные блестящие шкурки соболей обворожительно мерцали, охватывая ее грудь и руки. – А сейчас как вы чувствуете себя? Как будто вас уже наполовину колесовали?

Ее зеленые глубокие глаза остановились на мне со своеобразным насмешливым довольством, когда я, охваченный страстью, не в силах владеть собой, упал перед ней на колени и обвил ее руками.

– Да… да… вы пробудили в моей душе мою заветную, долго дремавшую фантазию…

– И вы хотели бы?..

Она положила руку мне на затылок.

Под теплотой маленькой руки, под нежным взглядом ее глаз, испытующе смотревших на меня из-за полусомкнутых век, меня охватил сладостный туман, я опьянел.

– *Быть рабом прекрасной женщины, женщины, которую я люблю, которую боготворю!*

– И которая за то жестоко обращается с вами! – перебила Ванда, засмеявшись.

– Да, которая меня связывает и наносит мне удары, топчет меня ногами, отдаваясь другому.

– И которая, доведя вас до сумасшествия от ревности, зайдет в своей наглости до того, что подарит вас счастливому сопернику и отдаст вас на произвол его грубости… Почему не закончить этим? Разве вам такая заключительная картина не нравится?

Я с испугом взглянул на Ванду:

– Вы превосходите мои грезы.

– Да, мы, женщины, изобретательны. Берегитесь. Когда вы найдете воплощение своего идеала, легко может случиться, что она будет поступать с вами более жестоко, чем вам было бы приятно.

– Боюсь, что я уже нашел свой идеал! – воскликнул я, прильнув пылающим лицом к ее коленям.

– Не во мне же?! – воскликнула Ванда, сбросив меховой плащ и, смеясь, забегав по комнате.

Я слышал ее смех, спускаясь с лестницы, и, остановившись в раздумье во дворе, далеко еще слышал сверху ее веселый, безудержный смех.

* * *

– Итак, вы хотите, чтобы я воплотила собой ваш идеал? – лукаво спросила Ванда, когда мы сегодня встретились в парке.

В первую минуту я не нашелся, что сказать ей. В душе моей боролись самые противоречивые чувства. Она тем временем опустилась на каменную скамью, вертя в руках цветок.

– Ну, что же… хотите?

Я стал на колени и взял ее руки:

– Еще раз прошу вас, будьте моей женой, моей верной, искренней женой! Если вы этого не можете, тогда будьте моим идеалом… но уж тогда совсем – открыто немилосердно!

– Вы знаете, что я решила отдать вам через год свою руку, если убедите меня, что вы тот, кого я ищу, – ответила Ванда очень серьезно. – Но я думаю, что вы будете мне благодарны, если я осуществлю вашу фантазию. Ну… что же вы предпочитаете?

– Я думаю, что в вашей натуре таится все, что рисуется моему воображению.

– Вы ошибаетесь.

– Я думаю, – продолжал я, – что вам должно доставлять удовольствие держать мужчину всецело в своих руках, мучить его…

– Нет, нет! – горячо воскликнула она. – А может быть… – раздумчиво сказала она после паузы. – Я перестала понимать себя самое, но в одном я должна вам сознаться. Вы развратили мою фантазию, разожгли мне кровь – мне начинает нравиться все то, что вы говорили. Меня увлекает восторг, с которым вы говорите о Помпадур и о множестве других женщин, эгоистичных, легкомысленных и жестоких…

Все это запало мне в душу и побуждает меня уподобиться этим женщинам, которые, при своей порочности, были всю свою жизнь рабски боготворимы и даже после своей смерти сохранили волшебное обаяние.

Вы кончите тем, что сделаете и из меня миниатюрного деспота. Помпадур для домашнего употребления…

– Так что же! – возбужденно воскликнул я. – Если эти свойства заложены в вашей душе, – дайте волю своему влечению! Только не наполовину! Если вы не можете быть доброй, верной женой – будьте дьяволом!

Я был взволнован до истомы, до изнеможения. Близость прекрасной женщины зажигала во мне кровь – я сам не знал, что говорил, помню только, что я целовал ее ноги и потом поднял ее ногу и поставил на свой затылок.

Но она быстро отдернула ее и поднялась почти гневно.

– Если вы меня любите, Северин, – быстро заговорила она, и голос ее звучал резко и повелительно, – то никогда больше не говорите об этих вещах. Понимаете, никогда! Кончится тем, что я стану в самом деле… – она улыбнулась и снова села.

– Я говорю совершенно серьезно! – воскликнул я в полузабытьи. – Я так боготворю вас, что готов переносить от вас все, только бы иметь право оставаться всю жизнь вблизи вас.

– Северин… еще раз предостерегаю вас…

– Вы напрасно меня предостерегаете. Делайте со мной что хотите, – только не отталкивайте меня совсем от себя!

– Северин, – сказала тем же тоном Ванда, – я молода и легкомысленна – вы серьезно рискуете, отдаваясь до такой степени в мою власть. В конце концов… вы можете… вы можете в самом деле сделаться моей игрушкой. Кто поручится вам тогда, что я не злоупотреблю вашим безумием?

– Ваше благородное сердце.

– Власть портит, я могу стать заносчивой…

– И будь заносчивой, – воскликнул я, – топчи меня ногами…

Ванда обвила рукой мою шею, заглянула мне в глаза и покачала головой:

– Боюсь, я этого не сумею, но я попытаюсь… ради тебя! Потому что я люблю тебя, Северин, – так люблю, как еще никогда никого не любила!

* * *

Сегодня она вдруг надела шляпу и шаль и предложила мне пойти с ней в магазин. Там она велела подать ей хлыст – из длинного ремня на короткой ручке, такой, какие употребляются для собак.

– Эти подойдут вам, вероятно, – сказал продавец.

– Нет, эти слишком малы, – ответила Ванда, искоса оглянувшись на меня. – Мне нужен большой…

– Вероятно, для бульдога? – догадался торговец.

– Да, – в таком роде, какие употребляются в России для

непокорных рабов.

Она порылась и нашла наконец хлыст, при виде которого меня проняло жуткое чувство.

– Теперь прощайте, Северин, – сказала она при выходе из магазина, – мне еще нужно сделать кой-какие покупки, при которых вам не следует сопровождать меня.

Я простился и пошел прогуляться, а возвращаясь, увидел Ванду. Она выходила из лавки скорняка и знаком подозвала меня.

– Подумайте еще раз, – заговорила она с довольным видом. – Я никогда не скрывала от вас, что меня увлек в вас преимущественно ваш серьезный, мыслящий ум. Понятно, что теперь меня радостно волнует мысль – видеть этого серьезного человека у своих ног, так беззаветно отдавшегося мне, так восторженно… Но долго ли это так будет? Женщина может любить мужчину, раба же она унижает и в конце концов отшвыривает его от себя ногой.

– Так отшвырни меня ногой, когда я надоем тебе! Я хочу быть твоим рабом…

– Я чувствую, что во мне дремлют опасные наклонности, – заговорила после паузы Ванда, когда мы прошли вместе несколько шагов, – а ты их пробуждаешь, и не в свою пользу, ты это должен же понять! Ты так увлекательно рисуешь жажду наслаждений – жестокость, высокомерную властность…

Что ты скажешь, если я поддамся искушению и на тебе

первом испробую силу, – как тиран Дионисий, приказавший изжарить в новоизобретенном железном быке его изобретателя, чтобы на нем первом убедиться, действительно ли его крики и предсмертное хрипенье звучат, как рев быка…

Что, если я окажусь женщиной-Дионисием?

– О, будь Дионисием! – воскликнул я. – Тогда осуществится моя греза. Доброй или злой – тебе я принадлежу весь, выбирай сама. Меня влечет рок, который я ношу в своей груди, – влечет властно, демонически…

* * *

«Любимый мой!

Я не хочу видеть тебя ни сегодня, ни завтра. Приходи только послезавтра вечером и – *рабом моим.*

Твоя повелительница

Ванда».

Рабом моим было подчеркнуто.

Я получил записку рано утром, прочел, перечитал ее снова, затем велел оседлать себе осла – самое подходящее верховое животное для ученого – и поехал в горы, чтобы заглушить там среди величавой природы Карпат мою страсть, мое томление…

* * *

И вот я вернулся – усталый, истомленный голодом и жаждой и прежде всего влюбленный.

Я быстро переодеваюсь и через несколько секунд стучусь у ее двери.

– Войдите!

Я вхожу. Она стоит среди комнаты в белом атласном платье, струящемся, как потоки света, вдоль ее тела, и в кацавейке из пурпурного атласа с роскошной, великолепной горностаевой опушкой, с бриллиантовой диадемой на осыпанных пудрой, словно снегом, волосах, со скрещенными на груди руками, со сдвинутыми бровями.

– Ванда!

Я бросился к ней, хочу охватить ее руками, поцеловать ее… Она отступает на шаг и окидывает меня взглядом с головы до ног:

– Раб!

– Повелительница моя!.. – Я опускаюсь на колени и целую подол ее платья.

– Вот так!

– О, как ты прекрасна!

– Я нравлюсь тебе? – Она подходит к зеркалу и оглядывает себя с горделивым удовольствием.

– Ты сведешь меня с ума!

Она презрительно выпятила нижнюю губу и насмешливо взглянула на меня из-за полуопущенных век:

– Подай мне хлыст.

Я оглянулся вокруг, намереваясь встать за ним.

– Нет! Оставайся на коленях! – воскликнула она, подошла к камину, взяла с карниза хлыст и хлестнула им по воздуху, глядя с улыбкой на меня, потом начала медленно засучивать рукава кацавейки.

– Дивная женщина! – воскликнул я.

– Молчи, раб!

Посмотрев на меня мрачным, даже диким взглядом, она вдруг ударила меня хлыстом… Но в ту же секунду склонилась ко мне с выражением сострадания на лице, нежно обвила мою голову рукой и спросила полусконфуженно, полуиспуганно:

– Я сделала тебе больно?

– Нет! Но если бы и сделала, – боль, которую ты мне причинишь, для меня наслаждение. Бей же, если это доставляет тебе удовольствие.

– Но мне это совсем не доставляет удовольствия.

Меня снова охватило то странное опьянение.

– Бей меня! – молил я. – Бей меня, без всякой жалости!

Ванда взмахнула хлыстом и два раза ударила меня.

– Довольно тебе?

– Нет!

– Серьезно нет?

– Бей меня, прошу тебя, – для меня это наслаждение.

– Да, потому что ты отлично знаешь, что это несерьезно, что у меня не хватит духу сделать тебе больно. Мне противна вся эта грубая игра. Если бы я действительно была такой женщиной, которая способна хлестать своего раба, я была бы тебе отвратительна.

– Нет, Ванда, нет! Я люблю тебя больше, чем самого себя, я отдаюсь тебе весь, на жизнь и на смерть, – ты в самом деле можешь делать со мной все, что тебе вздумается, по первому безудержному капризу…

– Северин!

– Топчи меня ногами! – воскликнул я, распростершись перед ней вниз лицом.

– Я ненавижу всякую комедию! – нетерпеливо воскликнула Ванда.

Наступила жуткая тишина.

– Северин, предостерегаю тебя еще раз, в последний раз… – прервала молчание Ванда.

– Если любишь меня, будь жестока со мной! – умоляюще проговорил я, подымая глаза на нее.

– Если люблю тебя? – протяжно повторила Ванда. – Ну хорошо же! – Она отступила на шаг и оглядела меня с мрачной усмешкой. – Так будь же моим рабом и почувствуй, что значит отдаться всецело в руки женщины!

И в тот же миг она наступила ногой на меня.

– Ну, раб, нравится тебе это?

И взмахнула хлыстом.

– Встань!

Я хотел встать на ноги.

– Не так! – приказала она. – На колени!

Я повиновался, и она начала хлестать меня.

Удары – частые, сильные – быстро сыпались мне на спину, на руки, каждый врезывался мне в тело, и оно ныло от жгучей боли, но боль приводила меня в восторг, потому что мне причиняла ее она, которую я боготворил, за которую во всякую минуту готов был отдать жизнь.

Она остановилась.

– Я начинаю находить в этом удовольствие, – заговорила она. – На сегодня довольно, но мной овладевает дьявольское любопытство – посмотреть, насколько хватит твоих сил, жестокое желание – видеть, как ты трепещешь под ударами твоего хлыста, как извиваешься… потом услышать твои стоны и жалобы… и мольбы о пощаде – и все хлестать, хлестать, пока гы не лишишься чувств. Ты разбудил опасные наклонности в моей душе. Ну, а теперь вставай.

Я схватил ее руку, чтобы прижаться к ней губами.

– Что за дерзость!

Она оттолкнула меня ногой от себя.

– Прочь с глаз моих, раб!

Как в лихорадке, проспал я в смутных снах всю ночь. Едва светало, когда я проснулся.

Что случилось в действительности из того, что проносит-

ся в моем воспоминании? Что было и что я только видел во сне? Меня хлестали, это несомненно – я еще чувствую боль от каждого удара, я могу сосчитать жгучие красные полосы на своем теле. И хлестала меня она! Да, теперь мне все ясно.

Моя фантазия стала действительностью. Что же я чувствую? Разочаровало ли меня превращение моей грезы в действительность?

Нет! Я только немного устал, но ее жестокость восхищает меня и теперь. О, как я люблю ее, как боготворю ее! Ах, как бледны все эти слова для выражения того, что я к ней чувствую, как я отдался всем существом! Какое это блаженство – быть ее рабом!

* * *

Она окликает меня с балкона. Я бегу наверх. Она стоит на пороге и дружески протягивает мне руку.

– Мне стыдно! – проговорила она, склонившись головой ко мне на грудь, когда я обнимал ее.

– Чего стыдно?

– Постарайтесь забыть безобразную вчерашнюю сцену, – сказала она дрожащим голосом. – Я исполнила ваш безумный каприз – теперь будемте благоразумны, будем любить друг друга, будем счастливы, а через год я стану вашей женой.

– Моей повелительницей! – воскликнул я. – А я – вашим

рабом!

– Ни слова больше о рабстве, о жестокости, о хлысте… – перебила меня Ванда. – Из всего этого я согласна оставить вам одну только меховую кофточку, не больше. Пойдемте, помогите мне надеть ее.

* * *

Маленькие бронзовые часы с фигуркой Амура, только что выпустившего стрелу, пробили полночь.

Я встал, хотел уйти.

Ванда ничего не сказала, только обвила меня руками, увлекла назад на оттоманку и снова начала целовать меня… И так понятен, так убедителен был этот немой язык!..

Но он говорил еще больше, чем я мог осмелиться понять, – такой страстной истомой дышало все существо Ванды, столько неги сладострастья было в полузакрытых, отуманенных глазах ее, в искрах огненного каскада волос под белой пудрой, в шелесте белого и красного атласа, сверкавшего переливами при каждом ее движении, в волнующихся складках горностая, в который она куталась с небрежной грацией.

– Ванда, умоляю тебя… – бормотал я, заикаясь, – но ты рассердишься…

– Делай со мной, что хочешь… – шептала она.

– Я хочу, чтобы ты топтала меня ногами… умоляю тебя…

иначе я помешаюсь…

– Ведь я запретила тебе говорить об этом! – строго воскликнула Ванда. – Или ты неисправим?

– Ах, ты не знаешь, как безумно я люблю тебя!

Я опустился на колени и зарыл свое пылающее лицо в складках ее платья.

– Я думаю, – задумчиво начала Ванда, – что все это безумие твое – одна только демоническая, неудовлетворенная чувственность. Это – болезненное уклонение, свойственное нашей природе. Если бы ты был менее добродетелен, ты был бы совершенно нормален.

– Ну сделай же меня нормальным… – пробормотал я.

Я перебирал руками ее волосы и искрящийся переливом мех, вздымавшийся и опускавшийся на груди ее, словно освещенная луною волна, и туманивший мне голову.

И я целовал ее… Нет! – она меня целовала – так бурно, так исступленно, словно хотела испепелить меня своими поцелуями. Я был как в бреду… сознание я давно потерял, а теперь я совершенно задыхался. Я рванулся от нее.

– Что с тобой?

– Я страдаю невыразимо…

– Страдаешь? – Она громко и весело расхохоталась.

– Ты смеешься! – простонал я. – О, если бы ты могла понять…

Ванда вдруг притихла, взяла руками мою голову, повернула меня к себе и страстно, порывисто прижала меня к гру-

ди.

– Ванда… – в беспамятстве бормотал я.

– Я забыла – тебе ведь страдание приятно! – воскликнула она и снова засмеялась. – Но погоди, я снова вылечу тебя – потерпи!

– Нет, я не стану больше допрашивать тебя, хочешь ли ты отдаться мне навеки или только на одно блаженное мгновение! Я хочу взять свое счастье… Теперь ты моя, и лучше мне когда-нибудь потерять тебя, чем никогда не иметь счастья обладать тобой.

– Вот так, теперь ты благоразумен…

И она снова обожгла меня своими жгучими губами…

Не помня себя, я рванул горностай и все кружевные покровы и прижал к своей груди ее обнаженную, порывисто дышавшую грудь…

Я потерял сознание, обезумел…

Только теперь мне вспоминается, что я увидел каплющую с моей руки кровь и апатично спросил:

– Ты меня поцарапала?

– Нет, кажется, я укусила тебя.

* * *

Замечательно, что всякие переживания и отношения в жизни принимают совершенно иную физиономию, как только появится новое лицо.

Мы проводили с Вандой упоительные дни – бродили по горам, вдоль озер, читали вместе, и я заканчивал ее портрет. А как мы любили друг друга! Каким счастьем светилось ее очаровательное лицо!

И вдруг приезжает ее подруга, какая-то разведенная жена, женщина немного старше, немного опытнее Ванды, немного менее добросовестная – и вот уже во всем сказывается ее влияние.

Ванда хмурится, часто бывает со мной несколько нетерпелива.

Неужели она уже не любит меня?!

* * *

Почти две недели уже длится это нестерпимое положение.

Подруга живет у нее, мы никогда не бываем одни. Вокруг обеих молодых женщин увивается толпа знакомых мужчин. Среди всего этого я играю нелепую и смешную роль с моей любовью, с моей серьезностью и моей тоской.

Ванда обращается со мной, как с чужим.

Сегодня во время прогулки она отстала от общества, оставшись со мной. Я видел, что она это сделала умышленно, и ликовал. Но что она мне сказала!

– Моя подруга не понимает, как я могу любить вас. Она не находит вас ни красивым, ни особенно увлекательным в каком-нибудь другом отношении. Вдобавок она занимает ме-

ня с утра до ночи рассказами о веселой блестящей жизни в столице, напевает мне о том, какой успех я могла бы иметь, какую блестящую партию могла бы сделать, каких красивых и знатных поклонников могла бы приобрести. Но что мне до всего этого, когда я люблю вас!

На мгновение у меня дыхание перехватило, потом я сказал:

– Я не хочу становиться у вас на дороге, – клянусь вам, Ванда. Забудьте обо мне совсем.

Сказав это, я приподнял шляпу и пропустил ее вперед. Она изумленно посмотрела на меня, но не откликнулась ни звуком.

Но когда я на обратном пути снова случайно встретился с ней, она украдкой пожала мне руку и посмотрела на меня так тепло, многообещающе, что я вмиг забыл все муки последних дней и вмиг зажили все мои раны.

Только теперь я уяснил себе хорошенько, как я люблю ее.

* * *

– Моя подруга жаловалась мне на тебя, – сказала мне Ванда сегодня.

– Она чувствует, по-видимому, что я ее презираю.

– Да за что ты ее презираешь, глупенький?! – воскликнула Ванда, взяв меня за уши.

– За то, что она лицемерка. Я уважаю только добродетель-

ных женщин или таких, которые откровенно живут для наслаждения.

– Как я! – шутливо заметила Ванда. – Но видишь ли, дитя мое, женщине это возможно только в самых редких случаях. Она не может быть ни так весело чувственна, ни так духовно свободна, как мужчина; ее любовь представляет соединение чувственности с духовной привязанностью. Ее сердце чувствует потребность прочно привязать к себе мужчину, между тем как сама она склонна к переменам.

Отсюда возникает разлад, возникает большей частью против ее воли, ложь и обман и в поступках, и во всем ее существе, – и все это портит ее характер.

– Конечно, это правда. Трансцендентный характер, который женщина хочет навязать любви, приводит ее к обману.

– Но свет и требует его! – перебила меня Ванда. – Посмотри на эту женщину: у нее в Лемберге муж и любовник, а здесь она приобрела еще нового поклонника и обманывает их всех, а в свете она всеми уважаема.

– Да пусть ее, – только бы она тебя оставила в покое.

– И за что относиться так презрительно? – с живостью продолжала Ванда. – Каждой женщине свойствен инстинкт, наклонность – извлекать пользу из своих чар. И есть своя заманчивость в том, чтобы отдаваться без любви, без наслаждения, – сохраняешь хладнокровие и можешь воспользоваться своим преимуществом.

– Ты ли это говоришь, Ванда?

– Отчего же? Вот что я вообще должна тебе сказать, заметь это: *никогда не будь спокоен за женщину, которую любишь,* потому что природа женщины таит в себе больше опасностей, чем ты думаешь. Женщины не так хороши, как их представляют их почитатели и защитники, и не так дурны, как их изображают их враги. Характерная особенность их в том, что они бесхарактерны. Самая лучшая женщина может унизиться моментами до грязи, и самая дурная неожиданно возвышается иногда до добрых, высоких поступков и пристыживает тех, кто относится к ней презрительно.

Нет женщины ни хорошей, ни дурной, которая не была бы способна во всякое время и на самые грязные, и на самые чистые, на дьявольские, как и на божественные, мысли, чувства и поступки.

Дело в том, что женщина осталась, несмотря на все успехи цивилизации, такой, какой она вышла из рук природы: она сохранила характер дикаря, который может оказаться способным на верность и на измену, на великодушие и на жестокость, смотря по господствующему в нем в каждую данную минуту чувству. Во все эпохи нравственный характер складывался только под влиянием серьезного, глубокого образования. Мужчина всегда следует принципам – даже если он эгоистичен, своекорыстен и зол; женщина же повинуется только побуждениям.

Не забывай этого и никогда не будь уверен в женщине, которую любишь.

* * *

Подруга уехала. Наконец вечер наш, мы одни. Словно всю любовь, которой она все время меня лишала, Ванда приберегла для этого блаженного вечера – так она ласкова, сердечна, нежна.

Какое счастье – прильнуть устами к ее устам, замереть в ее объятиях и видеть ее потом, когда она, вся изнемогшая, вся отдавшись мне, покоится на груди моей, а глаза наши, отуманенные упоением страсти, тонут друг в друге.

Не могу осмыслить, не могу поверить, что эта женщина – моя, вся моя…

– В одном она все же права, – заговорила Ванда, не пошевельнувшись, даже не открывая глаз, – точно во сне.

– Кто?

Она промолчала.

– Твоя подруга?

Она кивнула головой.

– Да, в этом она права… Ты не мужчина, ты – мечтатель, ты – увлекательный поклонник и был бы, наверное, неоцененным рабом, – но как мужа я себе не могу представить тебя.

Я испугался.

– Что с тобой? Ты дрожишь?

– Я трепещу при мысли, как легко я могу лишиться тебя, –

ответил я.

– Разве ты от этого менее счастлив теперь? Лишает ли тебя какой-нибудь доли радостей то, что до тебя я принадлежала другим, что после тебя мною будут обладать другие? И уменьшится ли твое наслаждение, если одновременно с тобой будет наслаждаться счастьем другой?

– Ванда!

– Видишь ли, это был бы исход. Ты не хочешь потерять меня, мне ты дорог и духовно так близок и нужен мне, что я хотела бы всю жизнь прожить с тобой, если бы при тебе…

– Что за мысль у тебя! – воскликнул я. – Ты внушаешь мне ужас к себе…

– И ты меньше любишь меня?

– Напротив!

Ванда приподнялась, опершись на левую руку.

– Я думаю, – сказала она, – что для того, чтобы навеки привязать к себе мужчину, надо прежде всего не быть ему верной. Какую честную женщину боготворили когда-либо так, как боготворят гетеру?

– В неверности любимой женщины таится действительно мучительная прелесть, высокое сладострастие.

– И для тебя? – быстро спросила Ванда.

– И для меня.

– И, значит, если я доставлю тебе это удовольствие… – насмешливо протянула Ванда.

– То я буду страдать чудовищно, но боготворить тебя бу-

ду больше… Только обманывать меня ты не должна! У тебя должно хватить демонической силы сказать мне: «Любить я буду одного тебя, но счастье буду дарить всякому, кто мне понравится».

Ванда покачала головой:

– Мне противен обман, я правдива, – но какой мужчина не согнется под бременем правды? Если бы я сказала тебе: «Эта чувственно веселая жизнь, это язычество – мой идеал», – хватило бы сил у тебя вынести это?

– О да. Я все снесу от тебя, только бы не лишиться тебя. Я ведь чувствую, как мало я для тебя, в сущности, представляю.

– Что ты!..

– Что ж, это правда, – сказал я. – И вот потому-то…

– Потому ты хотел бы… – она лукаво улыбнулась, – ведь я отгадала?

– Быть твоим рабом! – воскликнул я. – Твоей неограниченной собственностью, лишенной собственной воли, которой ты могла бы распоряжаться по своему усмотрению и которая поэтому никогда не стала бы тебе в тягость. Я хотел бы – пока ты будешь пить полной чашей радость жизни, упиваться веселым счастьем, наслаждаться всею роскошью олимпийской любви – служить тебе, обувать и разувать тебя.

– В сущности, ты не так уж не прав, – ответила Ванда, – потому что только в качестве моего раба ты мог бы вынести то, что я люблю других; кроме того, свобода наслаждений

античного мира и немыслима без рабства. Видеть перед собой трепещущих, пресмыкающихся на коленях людей – о, это, должно быть, своеобразное чувство подобия богам… Я хочу иметь рабов, – слышишь, Северин?

– Разве я не раб твой?

– Послушай же, – взволнованно сказала Ванда, схватив мою руку, – я буду твоей до тех пор, пока я люблю тебя.

– В течение месяца?

– Быть может, двух.

– А потом?

– Потом ты будешь моим рабом.

– А ты?

– Я? Что же ты спрашиваешь? Я – богиня и иногда буду спускаться тихо, совсем тихо и тайком со своего Олимпа к тебе.

– Но что все эти слова! – заговорила она снова после паузы, уронив голову на руки и устремив взгляд вдаль. – Золотая мечта, фантазия, которая никогда не станет действительностью.

Все существо ее дышало тяжелой, жуткой тоской. Такой я еще никогда ее не видал.

– Отчего же она неосуществима?

– Оттого, что у нас нет рабства.

– Так поедем в такую страну, где оно еще существует, – на Восток, в Турцию! – с живостью воскликнул я.

– Ты согласился бы… Северин… ты серьезно? – спросила

Ванда. Глаза ее пылали.

– Да, я серьезно хочу быть твоим рабом. Я хочу, чтобы твоя власть надо мной была освящена законом, чтобы моя жизнь была в твоих руках, чтобы ничто в мире не могло меня защитить, спасти от тебя. О, какое огромное наслаждение было бы чувствовать, что я всецело завишу от твоего произвола, от твоего каприза, от одного мановения твоей руки!

И тогда – какое безмерное блаженство, когда ты в милостивую минуту позволишь рабу твоему поцеловать твои уста, от которых зависит его жизнь или смерть!

Я стал на колени и прильнул горячим лбом к ее коленям.

– Ты бредишь, Северин! – взволнованно проговорила Ванда. – Так безгранично ты любишь меня, в самом деле?

Она прижала мою голову к своей груди и осыпала меня поцелуями.

– Так ты в самом деле хочешь? – нерешительно спросила она снова.

– Клянусь тебе Богом и честью моей, – я твой раб где и когда ты захочешь, как только ты мне это прикажешь! – воскликнул я, едва владея собой.

– А если я поймаю тебя на слове?

– Я согласен.

– Это приобретает для меня такую прелесть, которую едва ли можно сравнить с чем-нибудь. Знать, что человек, который меня боготворит, которого я всей душой люблю, отдался мне до такой степени всецело, что зависит весь от моей

воли, от моего каприза… обладать им, как рабом, в то время как я…

Она бросила на меня странный взгляд.

– Ну, если я стану до крайности легкомысленной, в этом ты будешь виноват, – продолжала она. – Я почти уверена, что ты уже теперь боишься меня, – но ты дал мне клятву….

– И я сдержу ее.

– Об этом уж предоставь мне позаботиться. Теперь я нахожу наслаждение в этом, – теперь это не останется пустой фантазией – клянусь тебе. Ты будешь моим рабом, а я… я постараюсь сделаться Венерой в мехах…

* * *

Я думал, что понял уже наконец эту женщину и знаю ее, а теперь я вижу, что должен начать сначала.

Она составила проект договора, которым я обязываюсь, под честным словом и клятвой, быть ее рабом до тех пор, пока она этого захочет.

Обняв меня рукой за шею, она читает мне вслух этот неслыханный, невероятный документ, и заключением каждого прочитанного пункта служит поцелуй.

– Но как же это? Договор содержит одни обязательства для меня, – говорю я, чтобы подразнить ее.

– Разумеется! – отвечает она с величайшей серьезностью – Отныне ты перестаешь быть моим возлюбленным – значит,

я освобождаюсь от всех обязанностей, от всяких обетов. На мою благосклонность ты должен смотреть как на милость, прав у тебя больше нет никаких, и ни на какие ты больше претендовать не должен. Власти моей над тобой не должно быть границ.

Подумай, ведь ты отныне на положении немногим лучшем, чем собака, чем неодушевленный предмет. Ты моя вещь, моя игрушка, которую я могу сломать, если это обещает мне минутное развлечение от скуки. Ты – ничто, а я – все. Понимаешь?

Она засмеялась и снова поцеловала меня, но по всему моему телу пробежала дрожь ужаса.

– Не разрешишь ли ты мне поставить некоторые условия? – начал я.

– Условия? – Она нахмурилась. – Ах, ты уже испугался или раскаиваешься!.. Но теперь все это поздно – ты дал мне честное слово, ты поклялся мне. Говори, впрочем.

– Прежде всего я хотел бы внести в наш договор, что ты никогда не расстанешься со мною совсем; а затем – что ты никогда не отдашь меня на произвол грубости какого-нибудь своего поклонника…

– Северин!.. – воскликнула с волнением Ванда, и глаза ее наполнились слезами. – Ты можешь думать, что я способна человека, который так меня любит, так отдается мне в руки…

– Нет, нет! – сказал я, покрывая ее руки поцелуями. – Я

не опасаюсь с твоей стороны ничего, что могло бы меня опозорить, – прости мне минутную дурную мысль!

Ванда радостно улыбнулась, прижалась щекой к моей щеке и, казалось, задумалась.

– Ты забыл кое-что, – шепнула она затем лукаво, – и самое важное!

– Какое-нибудь условие?

– Да, что я обязываюсь всегда носить меха. Но я и так обещаю это тебе. Я буду носить их уже по одному тому, что они и мне самой помогают чувствовать себя деспотом, а я хочу быть очень жестока с тобой – понимаешь?

– Я должен подписать договор? – спросил я.

– Нет еще, – я прежде прибавлю твои условия, и вообще подписать ты его должен на своем месте.

– В Константинополе?

– Нет. Я передумала. Какую цену представляет для меня обладание рабом там, где все имеют рабов! Я хочу иметь раба здесь, в нашем цивилизованном, трезвом, буржуазном мире, где раба буду иметь *я одна,* и главное, такого раба, которого отдали в мою власть не закон, не мое право и грубая сила, а только и единственно могущество моей красоты и сила моей личности. Вот что меня прельщает.

Во всяком случае мы уедем куда-нибудь – в какую-нибудь страну, где никто нас не знает и где тебе можно будет, не стесняясь перед светом, выступить в роли моего слуги. Поедем в Италию – может быть, в Рим или в Неаполь.

* * *

Мы сидели у Ванды, на ее оттоманке. Она была в своей горностаевой кофточке с распущенными волосами, развевавшимися, как львиная грива. Она припала к моим губам и высасывала мою душу из тела. У меня кружилась голова, сердце билось, как безумное, у ее сердца… во мне закипала кровь.

– Я хочу быть весь в твоих руках Ванда! – воскликнул я вдруг в одном из тех порывов страсти, во время которых мой отуманенный ум не в силах был правильно мыслить, свободно соображать. – Весь, без всяких условий, без всякого ограничения твоей надо мной власти… хочу зависеть от одного произвола твоей милости или немилости!

Говоря это, я скользнул с оттоманки к ее ногам и смотрел на нее снизу опьяненными страстью глазами.

– Как ты дивно хорош теперь!.. – воскликнула она. – Меня влекут, чаруют твои глаза, когда они смотрят вот так, в истоме, словно завороженные… какой дивный взгляд должен быть у тебя под смертельными ударами хлыста!.. У тебя глаза мученика!..

* * *

Иногда мне все-таки становится немного жутковато – отдаться так всецело, так безусловно в руки женщины… что, если она злоупотребит моей страстью, своей властью?

Ну что ж – тогда я испытаю то, что волновало мое воображение с раннего детства, неизменно наполняя мне душу сладостным ужасом. Глупое опасение. Это просто невинная веселая игра, в которую она будет играть со мной, – не больше. Она ведь любит меня, и добрая она – благородная натура, не способная ни к какой неверности.

Но это все-таки в ее власти – она *может,* если за*хочет.* Какая прелесть в этом сомнении, в этом опасении!

* * *

Теперь я понимаю знаменитую Манон Леско и ее бедного рыцаря, молившегося на нее даже тогда, когда она была уже любовницей другого, даже у позорного столба.

Любовь не знает ни добродетели, ни заслуги. Она любит, и прощает, и терпит все потому, что иначе не может. Нами руководит не здравое суждение – не достоинства или недостатки, которые нам случится подметить, привлекают или отталкивают нас.

Нас влечет и двигает какая-то сладостная и грустная, таинственная сила, и под ее влиянием мы перестаем мыслить, чувствовать, желать – мы позволяем ей толкать себя, не спрашивая даже куда.

* * *

Сегодня на гулянье среди курортных посетителей впервые появился один русский князь, привлекший к себе всеобщее внимание; его атлетическая фигура, необычайно красивое лицо, роскошный туалет и великолепие окружающей его обстановки произвели шумную сенсацию.

Особенно уставились на него дамы – совсем как на дикого зверя. Но он проходил по аллеям мрачный, никого не замечая, в сопровождении двух слуг – негра, одетого с головы до ног в красный атлас, и черкеса, во всем блеске его национального костюма и вооружения.

Вдруг он заметил Ванду, устремил на нее пронизывающий взгляд своих холодных глаз, проследил за ней глазами, пока она шла, поворачивая голову в направлении ее, и, когда она прошла, остановился и долго смотрел ей вслед.

А она… она пожирала его своими искрящимися зелеными глазами и постаралась снова встретиться с ним.

Утонченное кокетство, которое я чувствовал и видел в ее походке, в каждом ее движении, в том, как она на него смотрела, спазмой сжимало мне горло. Когда мы шли домой, я

что-то заметил ей об этом. Она нахмурила брови и ответила:

– Чего же ты хочешь? Князь из таких мужчин, которые могут нравиться мне. Он ослепил меня – а я свободна и могу делать что хочу…

– Разве ты меня больше не любишь? – испуганно пробормотал я, заикаясь.

– Люблю я одного тебя, но князю я позволю ухаживать за мной.

– Ванда!..

– Разве ты не раб мой? – невозмутимо напомнила она. – Разве я не жестокая северная Венера в мехах?

Я ничего не ответил. Я чувствовал себя буквально уничтоженным ее словами, холодный взгляд ее вонзился мне в сердце, как кинжал.

– Ты пойдешь сейчас же, узнаешь мне, как зовут князя, где он живет и все, что касается его, – продолжала она.

– Но, Ванда…

– Никаких отговорок. Я требую повиновения! – воскликнула она таким строгим тоном, которого я никогда в ней не подозревал. – Не являйся на глаза мне, пока не будешь иметь возможности ответить на все мои вопросы.

Только к вечеру я мог доставить Ванде сведения, которых она требовала. Она заставила меня стоять перед ней, как слугу, пока она выслушивала мой отчет с улыбкой, откинувшись на спинку кресла.

Выслушав меня, она кивнула головой, видимо довольная.

– Дай мне скамеечку под ноги, – коротко приказала она.

Я повиновался и, поставив скамеечку, уложив на нее ее ноги, остался на коленях перед ней.

– Чем это кончится? – печально спросил я после небольшой паузы.

Она разразилась веселым смехом:

– Да это еще и не начиналось!

– Ты бессердечнее, чем я думал, – сказал я, уязвленный.

– Северин! – серьезно заговорила Ванда. – Я еще ничего не сделала, ровно ничего, – а ты меня уже называешь бессердечной. Что же будет, когда я исполню твои фантазии, когда я стану вести веселую, вольную жизнь, окружу себя поклонниками и осуществлю целиком твой идеал – с попиранием ногами и ударами хлыста?

– Ты слишком серьезно принимаешь мои фантазии.

– Слишком серьезно? Но раз я их осуществляю, то не могу же я останавливаться на шутке! Ты знаешь, как ненавистна мне всякая игра, всякая комедия. Ведь ты этого хотел. Чья это затея – моя или твоя? Я ли тебя соблазнила ею или ты разжег мое воображение? Теперь это для меня, разумеется, серьезно.

– Выслушай меня спокойно, Ванда! – сказал я любовью. – Мы так любили друг друга, мы так бесконечно счастлины, – неужели ты захочешь принести в жертву капризу наше будущее?

– Теперь это уже не простой каприз! – воскликнула она.

– Что же?! – испуганно спросил я.

– Были, конечно, такие задатки во мне самой, – спокойно и задумчиво говорила она, – быть может, без тебя они никогда не обнаружились бы; но ты их пробудил, питал, развил – и теперь, когда это превратилось в могучий инстинкт, когда это охватило меня всю, когда я вижу в этом наслаждение, когда я не хочу и не могу иначе, – теперь ты пятишься… Да ты… мужчина?

– Ванда моя, дорогая моя Ванда! – воскликнул я, лаская, целуя ее.

– Оставь меня… ты не мужчина!..

– А кто же ты? – вспыхнул я.

– Я упряма – ты это знаешь. Ты силен в мечтаниях и слаб в их исполнении; я не такова. Если я что-нибудь решаю сделать, я это исполняю – и тем энергичнее, чем большее встречаю сопротивление. Оставь меня!

Она оттолкнула меня от себя и встала.

– Ванда! – воскликнул я, тоже встав и стоя лицом к лицу перед ней.

– Теперь ты знаешь, какая я. Предостерегаю тебя еще раз. Ты еще свободен перерешить. Я не неволю тебя стать моим рабом.

– Ванда… – с глубоким волнением начал я, и слезы выступили у меня на глазах, – если бы ты знала, как я люблю тебя!

Она презрительно повела губами.

– Ты ошибаешься, ты сама себя не понимаешь, ты не та-

кая дурная, какой рисуешь себя… Натура у тебя слишком благородная…

– Что ты знаешь о моей натуре! – резко перебила она меня. – Ты еще увидишь, какая я…

– Ванда…

– Решайся же, – хочешь ты подчиниться всецело, безусловно?

– А если я скажу: нет?

– Тогда…

Она подошла ко мне, холодная и насмешливая, – и, стоя вот так передо мной, со скрещенными на груди руками, со злой улыбкой на губах, она являлась действительно воплощением деспотической женщины моих грез. Лицо ее было жестко, в глазах ничего, что обещало бы доброту, сострадание.

– Хорошо… – проговорила она наконец.

– Ты сердишься… ты будешь бить меня хлыстом?

– О нет! – возразила она. – Я отпущу тебя. Можешь идти. Ты свободен. Я не удерживаю тебя.

– Ванда… ты гонишь меня?.. Меня, человека, который так тебя любит…

– Да, вас, сударь, – человека, который меня боготворит, – презрительно протянула она, – но который труслив, лжив, изменяет своему слову. Оставьте меня сию минуту…

– Ванда!..

– Вы слышите?

Вся кровь прихлынула мне к сердцу. Я бросился к ее ногам и не в силах был сдержать рыданий.

– Только слез не хватало! – воскликнула она, засмеявшись… (Какой это был ужасных смех!..) – Подите, я не хочу вас видеть больше.

– Боже мой! – крикнул я, не помня себя. – Я сделаю все, что ты приказываешь, буду твоим рабом, твоей вещью, которой ты можешь распоряжаться по своему усмотрению, – только не отталкивай меня!.. Я погибну! Не могу я больше жить без тебя!

Я обнимал ее колени и покрывал ее руки поцелуями.

– Да, ты должен быть рабом и чувствовать хлыст на себе, потому что ты не мужчина… – спокойно проговорила она. Это-то мучительнее всего схватило меня за сердце – что она говорила без всякого гнева, даже без волнения, а в спокойном раздумье… – Теперь я узнала тебя, поняла твою собачью натуру, способную боготворить того, кто попирает тебя ногами, – и тем больше боготворить, чем больше тебя унижают. Я теперь узнала тебя, а ты еще меня узнаешь…

Она зашагала крупными шагами по комнате, а я замер, уничтоженный, на коленях, с поникшей головой, со слезами, струившимися по лицу.

– Поди сюда, – повелительно бросила мне Ванда, опускаясь на оттоманку. Я повиновался знаку ее руки и сел рядом с ней. Она мрачно смотрела на меня, потом вдруг взгляд ее просветлел, словно осветившись изнутри, она привлекла ме-

ня, улыбаясь, к себе на грудь и начала поцелуями осушать мои мокрые от слез глаза.

* * *

В этом-то и заключается трагикомизм моего положения, что я, как медведь под властью укротительницы, могу бежать – и не хочу… и все готов вынести, как только она пригрозит мне отпустить меня на волю.

* * *

Если бы она наконец снова взяла хлыст в руки! В нежной ласковости ее обращения со мной мне чудится что-то зловещее. Я сам себе кажусь маленькой пойманной мышью, с которой грациозно играет красавица кошка, каждую секунду готовая растерзать ее… и мое мышиное сердце готово разорваться. Какие у нее намерения? Что она со мной сделает?

* * *

Она как будто совершенно забыла о договоре, о моем рабстве… Что бы это значило? Может быть, все это было простым упрямством, и она забросила всю эту затею в ту самую минуту, когда увидела, что я не оказал никакого сопротив-

ления и покорился ее самодержавному капризу?

Как она добра ко мне теперь, какая ласковая, любящая!.. Мы переживаем блаженные дни.

* * *

Сегодня она попросила меня прочесть вслух сцену между Фаустом и Мефистофелем, в которой Мефистофель является странствующим схоластом. Глаза ее со странным выражением довольства покоились на мне.

– Не понимаю я этого, – сказала она, когда я кончил чтение, – как может человек носить в душе такие великие, прекрасные мысли, так изумительно ясно, разумно, глубоко анализировать их – и быть в то же время таким мечтателем, таким сверхчувственным простаком.

– Ты довольна… – сказал я, целуя ее руки.

Она нежно провела рукой по моему лбу.

– Я люблю тебя, Северин, – прошептала она, – никого другого я не могла бы любить больше… Будем благоразумны… правда?

Вместо ответа я заключил ее в объятья. Душа моя ширилась чувством огромного, глубокого, скорбного счастья… глаза мои увлажнились, слеза скатилась на ее руку.

– Как можно плакать! – воскликнула она. – Ты совсем дитя…

* * *

Катаясь сегодня, мы встретили в коляске русского князя. Он был явно поражен, увидав меня рядом с Вандой, и, казалось, хотел пронзить ее своими электрическими серыми глазами. Ванда же – я готов был в ту минуту броситься перед ней на колени и целовать ее ноги – как будто совсем и не заметила его, равнодушно скользнула по нему взглядом, как по неодушевленному предмету, и тотчас же повернулась ко мне со своей обворожительной улыбкой.

* * *

Когда я уходил от нее сегодня и пожелал ей спокойной ночи, мне показалось, что она вдруг стала рассеянна и расстроенна, без всякого внешнего повода. Что бы такое могло озабочивать ее?

– Мне жаль, что ты уходишь… – сказала она, когда я стоял уже на пороге.

– Ведь это от тебя зависит – сократить срок моего тяжкого испытания… Согласись перестать мучить меня! – умоляюще сказал я.

– Ты, значит, не допускаешь, что это положение и для меня мука… – проронила она.

– Так положи ей конец! – воскликнул я, обнимая ее. – Будь моей женой!

– Ни-ког-да, Северин! – сказала она мягко, но непоколебимо решительно.

– Что ты сказала?!

Я был испуган, потрясен до самой глубины души.

– *Мужем моим ты быть не можешь…*

Я посмотрел на нее, медленно отнял руку, которой все еще обнимал ее талию, и вышел из комнаты.

Она… не позвала, не вернула меня.

* * *

Долгая бессонная ночь. Десятки раз я принимал всевозможные решения и снова отказывался от них.

Утром я написал письмо, в котором объявил, что считаю нашу связь расторгнутой. Рука моя дрожала, когда я писал, и, когда запечатывал письмо, я обжег себе пальцы.

Когда я взошел на лестницу, чтобы отдать письмо горничной, у меня подкашивались ноги, я едва не упал.

Но дверь открыла Ванда сама, выглянув одной головой, на которой белели папильотки.

– Я еще не причесана, – с улыбкой сказала она. – Что вы хотели?

– Письмо…

– Мне?

Я кивнул головой.

– Ах, вы хотите порвать со мной? – воскликнула она насмешливо.

– Разве вы не заявили вчера, что я не гожусь быть вашим мужем?

– *Повторяю это и сейчас.*

– Ну вот – возьмите… – Я протянул ей письмо, дрожа всем телом; голос не повиновался мне.

– Оставьте его у себя, – сказала она, холодно глядя на меня. – Вы забываете, что теперь речь вовсе не о том, можете ли вы удовлетворить меня как *муж,* – а в *рабы* вы во всяком случае годитесь.

– Сударыня!.. – с негодованием воскликнул я.

– Да, так вы должны называть меня отныне, – сказала Ванда, откидывая голову с невыразимым пренебрежением. – Извольте устроить ваши дела в двадцать четыре часа, послезавтра я еду в Италию, и вы поедете со мной, в качестве моего слуги.

– Ванда!..

– Я запрещаю вам фамильярности со мной, – резко оборвала она. – Запомните также, что являться ко мне вы должны не иначе как по моему зову или звонку и не заговаривать со мной первый, когда я с вами не говорю. Зовитесь вы отныне не Северином, а *Григорием.*

Я задрожал от ярости и… к прискорбию должен сознаться – в то же время и от наслаждения, от острого возбуждения.

– Но… сударыня, вы ведь знаете мои обстоятельства, – смущенно заговорил я, – я ведь завишу еще от своего отца… Сомневаюсь, чтобы он дал мне такую большую сумму, какая нужна для этой поездки…

– Значит, у тебя денег нет, Григорий, – сказала Ванда, очень довольная, – тем лучше! Тогда ты, значит, всецело зависишь от меня и оказываешься в самом деле моим рабом.

– Вы не приняли во внимание, – попытался я возразить, – что, как человек честный, я не могу…

– Я все приняла во внимание. Как человек честный, – голос ее звучал повелительно, – вы обязаны прежде всего сдержать свое слово, свою клятву, последовать за мной, в качестве моего раба, куда я прикажу, и повиноваться мне во всем, что я ни прикажу. А теперь ступай, Григорий!

Я направился к двери.

– Постой… можешь предварительно поцеловать мою руку.

И она с горделивой небрежностью протянула мне руку для поцелуя, а я… я, дилетант, я, осел, я, жалкий раб, припал к ней с порывистой нежностью своими горячими, пересохшими от волнения губами.

Мне еще милостиво кивнули головой – и отпустили меня.

* * *

Поздно ночью у меня еще горел огонь и топилась боль-

шая зеленая печь, так как мне надо было еще позаботиться о некоторых письмах и бумагах, а осень, как это бывает у нас обыкновенно, вдруг и сразу вступила в свои права.

Вдруг она постучала ко мне в окно деревянной ручкой хлыста.

Я отпер окно и увидел ее в ее опушенной горностаем кофточке и высокой, круглой казацкой шапке из горностая, вроде тех, которые носила иногда Екатерина Великая.

– Готов ты, Григорий? – мрачно спросила она.

– Нет еще, моя повелительница, – ответил я.

– Это слово мне нравится, – отозвалась она, – можешь всегда называть меня своей повелительницей, – слышишь? Завтра утром, в девять часов, мы уезжаем отсюда. До железнодорожной станции ты будешь моим спутником, моим другом, а с той минуты, когда мы сядем в вагон, – ты мой раб, мой слуга. Закрой теперь окно и отопри дверь.

Когда я сделал то, что она приказала, и она вошла в комнату, она спросила, насмешливо сдвинув брови:

– Ну-с, нравлюсь я тебе?

– Ты обв…

– Кто позволил тебе это? – воскликнула она, хлестнув меня хлыстом.

– Вы дивно прекрасны, моя повелительница.

Ванда улыбнулась и уселась на кресле.

– Стань здесь на колени – вот тут, около моего кресла.

Я повиновался.

– Целуй руку.

Я схватил ее маленькую, холодную ручку и поцеловал.

– И губы…

Волна страсти хлынула на меня – я обвил руками тело жестокой красавицы и осыпал, как безумный, пламенными поцелуями ее лицо, губы и грудь, – и она с той же жгучей страстью отвечала на мои поцелуи, с закрытыми глазами, как во сне…

Далеко за полночь мы не могли оторваться друг от друга.

* * *

Ровно в 9 часов утра, как она приказала, все было готово к отъезду, и мы выехали в удобной коляске из маленького горного курорта в Карпатах, в котором разыгралась самая интересная драма моей жизни, запутавшись в сложный узел, и никто из нас предсказать не мог, как он когда-нибудь распутается.

Все шло превосходно вначале. Я сидел рядом с Вандой, она, не умолкая, болтала со мной мило, увлекательно, остроумно, как с добрым другом, об Италии, о новом романе Писемского, о музыке Вагнера. Дорожный костюм ее состоял из своего рода амазонки, черного суконного платья с короткой кофточкой, отделанной мехом, плотно облегавшей ее стройные формы и великолепно обрисовывавшей их. Поверх платья на ней была темная дорожная шубка.

На волосах, собранных в античный узел, сидела маленькая темная меховая шапочка, с которой ниспадала повязанная вокруг нее черная вуаль.

Ванда была очень хорошо настроена, шаловливо клала мне конфеты в рот, причесывала меня, развязывала мне галстук, повязывала снова прелестной маленькой петлей, набрасывала мне на колени шубку и под ней украдкой сжимала мои пальцы, а когда наш возница-еврей заклевал носом, она даже поцеловала меня – и холодные губки ее дышали свежим, морозным ароматом – словно юная роза, расцветшая осенью среди пожелтелых листьев и совсем обнаженных стеблей, чашечку которой первая изморозь покрыла мелкими ледяными бриллиантами.

* * *

Вот и железнодорожная станция. У вокзала мы вышли из коляски. Ванда с обворожительной улыбкой сбросила с плеч мне на руки шубу и потом пошла позаботиться о билетах.

Когда она вернулась, она переменилась неузнаваемо.

– Вот тебе билет, Григорий, – проговорила она таким тоном, каким говорят надменные барыни со своими лакеями.

– Третьего класса?! – воскликнул я с комическим ужасом, взглянув на билет.

– Конечно. Вот что не забудь: ты сядешь в вагон только тогда, когда я совсем устроюсь в купе и ты мне больше не

будешь нужен. На каждой станции ты должен входить в мой вагон и спрашивать, не будет ли каких приказаний. Смотри же, запомни все это. А теперь подай мне шубку.

Когда я смиренно, как раб, помог ей надеть шубку, она позвала меня с собой, чтоб отыскать свободное купе первого класса, вскочила в него, опершись о мое плечо, и, усевшись, приказала мне закрыть ей ноги медвежьей шкурой и подложить грелку.

Затем она кивком головы отпустила меня.

Я медленно пошел в свой вагон третьего класса, весь пропитанный самым мерзким табачным дымом, как чистилище туманными парами Ахеронта. Потянулся долгий досуг, во время которого я мог предаваться решению загадок человеческого бытия и величайшей из этих загадок – души женщины.

Каждый раз, когда останавливается поезд, я выскакиваю, бегу в ее вагон и смиренно стою со снятой с головы фуражкой в ожидании ее приказаний. Она велит принести то чашку кофе, то стакан воды, раз потребовала легкий ужин, в другой раз – таз с теплой водой, чтобы вымыть руки, – и так все время.

В купе у нее поместились по пути двое-трое пассажиров, она позволяет им ухаживать за собой, кокетничает с ними; я умираю от ревности и вынужден скакать сломя голову, чтобы быстро исполнять все приказания и своевременно приносить все, не опоздав, когда тронется поезд. Так проходит

вся остальная часть дня, наступает ночь.

Я не в силах ни куска проглотить, ни глаз сомкнуть, дышу одним воздухом с польскими крестьянами, с барышниками-евреями, с грубыми солдатами, – воздух насквозь пропитан луком, – а когда вхожу к ней в купе, вижу ее закутанную в мягкие меха, на подушках дивана, укрытую шкурами, – лежит, словно деспотическая властительница Востока, а господа пассажиры сидят навытяжку, прислонившись к стене, – точно индийские идолы, – едва смея дышать.

В Вене, где она останавливается на день, чтобы сделать кой-какие покупки, и прежде всего накупить множество великолепных туалетов, она продолжает обращаться со мной как со своим слугой.

Я следую за ней на почтительном расстоянии, в десяти шагах; она протягивает мне то и дело, не удостаивая меня ни одного приветливого взгляда, пакеты, и я наконец, нагруженный как осел, вынужден пыхтеть под их тяжестью.

Перед отъездом она отбирает у меня все мои костюмы, чтобы раздать их кельнерам отеля, и приказывает мне облачиться в ее ливрею, в панталоны и куртку ее цветов – светло-голубого с красной отделкой – в четырехугольную красную шапочку, украшенную павлиньими перьями, которая очень недурно идет мне.

На серебряных пуговицах – ее герб. У меня такое чувство, словно меня продали или я прозакладывал душу дьяволу.

Мой прекрасный дьявол везет меня из Вены во Флорен-

цию. Вместо прежних поляков и евреев мое общество теперь составляют курчавые contadini, красавец сержант первого итальянского гренадерского полка и бедняк немецкий художник. Табачный дым пахнет теперь не луком, а сыром.

Снова наступила ночь. Я лежу на своей деревянной скамье, все мое тело ноет, руки и ноги как будто перебиты. Но поэтично это все же. В окна мерцают звезды, у сержанта лицо настоящего Аполлона Бельведерского, а немец-художник поет прелестный немецкий романс.

Я лежу и думаю о красавице, уснувшей по-царски спокойным сном в своих мягких мехах.

* * *

Флоренция! Шум, крики, назойливые афчини и фиакры. Ванда подзывает один из экипажей, а носильщиков прогоняет.

– Зачем же мне был бы слуга? – говорит она. – Григорий… вот квитанция… получи багаж!

Она плотнее закутывается в свою меховую шубу и усаживается спокойно в экипаж, пока я втаскиваю один за другим тяжелые чемоданы. Под тяжестью последнего я спотыкаюсь, но стоящий поблизости карабинер с интеллигентным лицом помогает мне, поддержав его. Ванда смеется.

– Этот чемодан должен быть тяжеленек, – говорит она, – потому что в нем все мои меха.

Я вскарабкался на козлы и начал вытирать прозрачные капли со лба. Она крикнула извозчику название гостиницы, тот погнал лошадь. Через несколько минут мы остановились перед ярко освещенным подъездом.

– Комнаты есть? – спросила она швейцара.

– Есть, сударыня.

– Две комнаты для меня, одну для моего человека – все с печами.

– Две элегантные комнаты, сударыня, обе с каминами – к вашим услугам, – сказал подбежавший номерной, – а для вашего слуги есть одна свободная без печи.

– Покажите мне их.

Осмотрев комнаты, она кратко обронила:

– Хорошо. Я беру их. Живо затопите только. Человек может спать в нетопленой комнате.

Я только взглянул на нее.

– Принеси сюда чемоданы, Григорий, – приказала она, не обращая внимания на мой взгляд. – Я пока переоденусь и сойду в столовую. Потом можешь и себе взять чего-нибудь на ужин.

Она вышла в смежную комнату, а я втащил снизу чемоданы, помог номерному затопить камин в ее спальне, пока он попробовал расспрашивать меня на скверном французском языке о моей «госпоже», и с безмолвной завистью смотрел некоторое время на пылающий огонь в камине, на душистую белую постель под пологом, на ковры, которыми устлан был

пол.

Затем я спустился с лестницы, усталый и голодный, и потребовал чего-нибудь поесть. Добродушный кельнер, оказавшийся австрийским солдатом и старавшийся изо всех сил занимать меня разговором по-немецки, проводил меня в столовую и подал мне поесть. Только что я после тридцатишестичасовой голодовки сделал первый глоток и набрал вилкой кусок горячей пищи – она вошла в столовую.

Я поднялся с места.

– Как же вы меня приводите в столовую, в которой ест мой человек? – набросилась она на номерного, вся пылая гневом, и, резко повернувшись, вышла из зала.

Я все же возблагодарил небо за то, что мог по крайней мере продолжать есть. Кончив, я поднялся на пятый этаж в свою комнату, в которой уже оказался мой маленький чемодан и горела грязная лампочка. Узкая комната без печи, без окна, с маленьким отверстием для притока воздуха – дьявольский холод. Я невольно громко расхохотался – послышалось такое звонкое эхо, что я испугался звука собственного смеха.

Вдруг дверь распахнулась, и вошедший номерной воскликнул с театральным – чисто итальянским жестом:

– Подите тотчас же к вашей госпоже, приказано сию минуту!

Беру свою фуражку, сбегаю вниз по лестницам, подхожу благополучно к ее двери во втором этаже и стучусь.

– Войдите.

* * *

Я вошел, закрыл за собой дверь и остановился на пороге.

Ванда комфортабельно уселась на красном бархатном диване в неглиже из белой кисеи с кружевами, ноги ее покоились на подушке такого же красного бархата, а на плечи был наброшен тот же меховой плащ, в котором она явилась в первый раз в образе богини любви.

Желтые огни свечей в подсвечниках, стоявших на трюмо, и их отражение в огромном зеркале в соединении с красным пламенем камина давали дивную игру на зеленом бархате, на темно-коричневом соболе плаща и на пламенно-рыжих волосах прекрасной женщины, обратившей ко мне свое ясное, но холодное лицо и остановившей на мне свои холодные зеленые глаза.

– Я довольна тобой, Григорий, – начала она.

Я поклонился.

– Подойди поближе.

Я повиновался.

– Еще ближе, – сказала она, опустив глаза и поглаживая соболя рукой. – Венера в мехах принимает своего раба. Я вижу, что вы все же не вполне обыкновенный фантазер; по крайней мере, вы не отступаете от своих фантазий, а способны осуществить то, что выдумали, хотя бы это было крайнее

безумие. Сознаюсь, что мне это нравится, это мне импонирует. В этом есть известная сила, а уважать можно только силу.

Я думаю даже, что при исключительных обстоятельствах, в великую эпоху, то, что кажется теперь слабостью в вас, оказалось бы изумительной силой. В эпоху первых императоров вы были бы мучеником, в эпоху реформации – анабаптистом, во время Французской революции – одним из тех энтузиастов-жирондистов, которые всходили на гильотину с Марсельезой на устах. А теперь вы – мой раб, мой…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.